* А р к а д и й С т р у г а ц к и й *

* Б о р и с С т р у г а ц к и й *

ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА

"Есть лишь одна проблема – одна
– единственная в мире – вернуть
людям духовное содержание, ду ховные заботы..."
А. Де Сент–Экзюпери

Глава первая.

У таможенника было гладкое округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно–приветлив и благожелателен.

– Добро пожаловать, – негромко произнес он. – Как вам нравится наше солнце? – Он взглянул на паспорт в моей руке. – Прекрасное утро, не правда ли?

Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло перелистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана.

– Забавно, – сказал он. – Чехол еще не высох. Трудно представить себе, что где–то может быть ненастье.

– Да, у нас уже осень, – со вздохом сказал я, открывая чемодан.

Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь.

– Под нашим солнцем невозможно представить себе осень, – сказал он. – Благодарю вас, вполне достаточно... Дождь, мокрые крыши, ветер...

– А если под бельем у меня что–нибудь спрятано? – Спросил я. Не люблю разговоров о погоде.

Он от души рассмеялся.

– Пустая формальность, – сказал он. – Традиция. Если угодно, условный рефлекс всех таможенников. – Он протянул мне лист плотной бумаги. – А вот и еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно. И подпишите, если вас не затруднит.

Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня.

– Любопытно, не правда ли? – Сказал он.

– Во всяком случае, это интригует, – ответил я, доставая авторучку. – Где нужно расписаться?

– Где и как угодно, – сказал таможенник. – Хоть поперек.

Я расписался под русским текстом поперек строчки "С законом об иммиграции ознакомился(лась)".

– Благодарю вас, – сказал таможенник, пряча бумагу в стол. Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... Сколько вы у нас пробудете?

Я пожал плечами.

– Трудно сказать заранее. Как пойдет работа.

– Скажем, месяц?

– Да, пожалуй. Пусть будет месяц.

– И в течение всего этого месяца... – Он наклонился, делая какую–то пометку в паспорте. – В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы. – Он протянул мне паспорт. – Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочется побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар... У вас ведь есть доллары?

– Да.

– Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро...

– У меня нет крузейро, – сказал я. – У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит?

– Несомненно. Кстати, чтобы не забыть. Внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента.

– С удовольствием, – сказал я. – А зачем?

– Так уж принято. В обеспечение минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких–нибудь потребностей.

Я отсчитал девяносто один доллар, и он, не садясь, принялся выписывать квитанцию. От неудобной позы шея его налилась малиновой кровью. Я огляделся. Белый барьер тянулся вдоль всего павильона. По ту сторону барьера радушно улыбались, смеялись, что–то доверительно объясняли таможенные чиновники. По эту сторону нетерпеливо переминались, щелкали замками чемоданов, возбужденно оглядывались пестрые пассажиры. Всю дорогу они лихорадочно листали рекламные проспекты, шумно строили всевозможные планы, тайно и явно предвкушали сладкие денечки и теперь жаждали поскорее преодолеть белый барьер – томные лондонские клерки и их спортивного вида невесты, бесцеремонные оклахомские фермеры в ярких рубашках на выпуск, широких штанах до колен и сандалиях на босу ногу, туринские рабочие со своими румяными женами и многочисленными детьми, мелкие католические боссы из Испании, финские лесорубы с деликатно притушенными трубочками в зубах, итальянские баскетболистки, иранские студенты, профсоюзные деятели из Замбии...

Таможенник вручил мне квитанцию и отсчитал двадцать восемь центов сдачи.

– Вот и все формальности. Надеюсь, я не слишком задержал вас. Желаю вам приятно провести время.

– Спасибо, – сказал я и взял чемодан.

Таможенник смотрел на меня, слегка склонив набок гладкое улыбающее лицо.

– Через этот турникет, прошу вас. До свидания. Позвольте еще раз пожелать вам всего хорошего.

Я вышел на площадь вслед за итальянской парой с четырьмя детьми и двумя механическими носильщиками.

Солнце стояло высоко над сизыми горами. На площади все было блестящее, яркое и пестрое. Немного слишком яркое и пестрое, как это бывает в курортных городах. Блестящие красные и оранжевые автобусы, возле которых уже толпились туристы. Блестящая глянцевитая зелень скверов с белыми, синими, желтыми, золотыми павильонами, тентами и киосками. Зеркальные плоскости, вертикальные, горизонтальные и наклонные, вспыхивающие ослепительными горячими зайчиками. Гладкие матовые шестиугольники под ногами и колесами красные, черные, серые, едва заметно пружинящие, заглушающие шаги... Я поставил чемодан и надел темные очки.

Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. И совершенно напрасно. Было бы гораздо легче, если бы он оказался пасмурным, если было бы грязно и слякотно, если бы этот павильон был серым, с цементными стенами и на мокром цементе было бы нацарапано что–нибудь похабное. Унылое и бессмысленное – от скуки. Тогда бы, наверное, сразу захотелось работать. Обязательно захотелось бы, потому что такие вещи раздражают и требуют деятельности... Все–таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой... И поэтому нет обычного азарта и не хочется немедленно взяться за дело, а хочется сесть в один из этих автобусов, вот в этот красный с синим, и двинуть на пляж, поплавать с аквалангом, обгореть, покидать мяч с ребятами или отыскать Пека, лечь с ним в прохладной комнате на полу, вспомнить все хорошее, и чтобы он спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли, в которых я сам теперь плохо разбираюсь, но все же лучше, чем он, и чтобы он вспомнил про мятеж и хвастался шрамами и своим общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался, скажем, мэром...

Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: "Добро пожаловать". На мочке правого уха у него блестела серьга–приемник.

– С приездом, – сказал человек.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Добро пожаловать. Меня зовут Амад.

– А меня – Иван, – сказал я. – Рад познакомиться.

Мы кивнули друг другу и стали смотреть, как туристы рассаживаются по автобусам. Они весело галдели, и теплый ветерок катил от них по площади окурки и мятые конфетные бумажки. На лицо Амада падала зеленая тень козырька.

– Курортники, – сказал он. – Беззаботные и шумные. Сейчас их развезут по отелям, и они немедленно кинутся на пляж.

– С удовольствием прокатился бы на водных лыжах, – заметил я.

– В самом деле? Вот никогда бы не подумал. Вы меньше всего похожи на курортника.

– Так и должно быть, – сказал я. – Я приехал поработать.

– Поработать? Ну что ж, к нам приезжают и для этого. Два года назад к нам приезжал Джонатан Крайс, писал здесь картину. – Он засмеялся. – Потом в Риме его поколотил какой–то папский нунций, не помню фамилии.

– Из–за этой картины?

– Нет, вряд ли. Ничего он здесь не написал. Здесь он дневал и ночевал в казино... Пойдемте выпьем что–нибудь.

– Пойдемте, – сказал я. – Вы мне что–нибудь посоветуете.

– Советовать – моя приятная обязанность, – сказал Амад.

Мы одновременно наклонились и взялись за ручку чемодана.

– Не стоит, я сам...

– Нет, – возразил Амад. – Вы гость, а я хозяин... Пойдемте вон в тот бар. Там сейчас пусто.

Мы вошли под голубой тент. Амад усадил меня за столик, поставил чемодан на пустой стул и отправился к стойке. Здесь было прохладно, щелкала холодильная установка. Амад вернулся с подносом. На подносе стояли два высоких стакана и плоские тарелочки с золотистыми от масла ломтиками.

– Не очень крепкое, – сказал Амад, – но зато по–настоящему холодное.

– Я тоже не люблю крепкое с утра.

Я взял стакан и отхлебнул. Было вкусно.

– Глоток – ломтик, – посоветовал Амад. – Глоток – ломтик. Вот так.

Ломтики хрустели и таяли на языке. По–моему, они были лишние. Некоторое время мы молчали, глядя из–под тента на площадь. Автобусы с негромким гулом один за одним уходили в садовые аллеи. Они казались громоздкими, но в их громоздкости было какое–то изящество.

– Все–таки там слишком шумно, – сказал Амад. – Отличные коттеджи, много женщин – на любой вкус, море рядом, но никакой привратности. Думаю, вам это не подойдет.

– Да, – согласился я. – Шум будет мешать. И я не люблю курортников, Амад. Терпеть не могу, когда люди веселятся добросовестно.

Амад кивнул и осторожно положил в рот очередной ломтик. Я смотрел, как он жует. Было что–то профессиональное в сосредоточенном движении его нижней челюсти. Проглотив, он сказал:

– Нет, все–таки синтетика никогда не сравняется с натуральным продуктом. Не та гамма. – Он подвигал губами, тихонько чмокнул и продолжал: – Есть два превосходных отеля в центре города, но, помоему...

– Да, это тоже не годится, – сказал я. – Отель тоже накладывает определенные обязательства. И я не слыхал, чтобы кто–нибудь мог написать в отеле что–нибуть путное.

– Ну, это не совсем так, – возразил Амад, критически рассматривая оставшийся ломтик. – Я читал одну книжку, и там было написано, что ее сочинили именно в отеле. Отель "Флорида".

– А, – сказал я. – Вы правы. Но ведь ваш город не обстреливается из пушек.

– Из пушек? Конечно, нет. Во всяком случае, не как правило.

– Я так и думал. А между тем замечено, что хорошую вещь можно написать только в обстреливаемом отеле.

Амад все–таки взял ломтик.

– Это трудно устроить, – сказал он. – В наше время трудно достать пушку. Кроме того, это очень дорого: отель может потерять клиентуру.

– Отель "Флорида" тоже потерял в свое время клиентуру. Хемингуэй жил там один.

– Кто?

– Хемингуэй.

– А... Но это же было так давно, еще при фашистах. Времена все –таки переменились, Иван.

– Да, – сказал я. – И в наше время писать в отелях не имеет смысла.

– Бог с ними, с отелями, – сказал Амад. – Я знаю, что вам нужно. Вам нужен пансионат. – Он достал записную книжку. – Называйте условия, попробуем подобрать что–нибудь подходящее.

– Пансионат, – сказал я. – Не знаю. Не думаю. Вы поймите, я не хочу знакомиться с людьми, с которыми я знакомиться не хочу. Это во–первых. Во–вторых, кто живет в частных пансионатах? Те же самые курортники, у которых не хватило денег на отдельный коттедж. Они веселятся добросовестно. Они устраивают пикники, междусобойчики и спевки. Ночью они играют на банджо. Кроме того, они хватают всех, до кого могут дотянуться, и принуждают учавствовать в конкурсе на самый долгий поцелуй. И главное – все они приезжие. А меня интересует ваша страна, Амад. Ваш город. Ваши горожане. Я вам скажу, что мне нужно. Мне нужен уютный дом с садом. Умеренное расстояние до центра. Нешумная семья, почтенная хозяйка. Крайне желательна молодая дочка. Представляете, Амад?

Амад взял пустые стаканы, отправился к стойке и вернулся с полными. Теперь в стаканах была бесцветная жидкость, а на тарелочках – микроскопические многоэтажные бутерброды.

– Я знаю такой уютный домик, – заявил Амад. – Вдове сорок пять, дочери двадцать, сыну одиннадцать. Допьем и поедем. Я думаю, вам понравится. Плата обычная, хотя, конечно, дороже, чем в пансионате. Вы надолго приехали?

– На месяц.

– Господи! Всего–то?

– Не знаю, как пойдут дела. Может быть, задержусь еще.

– Обязательно задержитесь, – сказал Амад. – Я вижу вы, еще не совсем представляете, куда вы приехали. Вы просто не знаете, как у нас весело и ни о чем не надо думать.

Мы допили, поднялись и пошли через площадь под горячим солнцем к стоянке автомобилей. Амад шагал быстро, немного вразвалку, надвинув зеленый козырек на глаза и небрежно помахивая чемоданом. Из таможенного павильона сыпалась очередная порция туристов.

– Хотите – честно? – Сказал вдруг Амад.

– Хочу, – сказал я. Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.

– Ничего вы здесь не напишите, – сказал Амад. – Трудно у нас что–нибудь написать.

– Написать что–нибудь всегда трудно, – сказал я. А хорошо всетаки, что я не писатель.

– Охотно верю. Но в таком случае у нас это просто невозможно. Для приезжего по крайней мере.

– Вы меня пугаете.

– А вы не бойтесь. Вы просто не захотите здесь работать. Вы не усидите за машинкой. Вам будет обидно сидеть за машинкой. Вы знаете, что такое радость жизни?

– Как вам сказать...

– Ничего вы не знаете, Иван. Пока вы еще ничего об этом не знаете. Вам предстоит пройти двенадцать кругов рая. Смешно, конечно, но я вам завидую...

Мы остановились у длинной открытой машины. Амад бросил на заднее сидение чемодан и распахнул передо мною дверцу.

– Прошу, – сказал он.

– А вы, значит, уже прошли, – спросил я, усаживаясь.

Он уселся за руль и включил двигатель.

– Что именно?

– Двенадцать кругов рая.

– Я, Иван, уже давно выбрал себе излюбленный круг, – сказал амад. Машина бесшумно покатилась по площади. – Остальные для меня давно уже не существуют. К сожалению. Это как старость. Со всеми ее привилегиями и недостатками...

Машина промчалась через парк и понеслась по прямой тенистой улице. Я с интересом посматривал по сторонам, но я ничего не узнавал. Глупо было надеяться узнать что–нибудь. Нас высаживали ночью, лил дождь, семь тысяч измученных курортников стояли на пирсах, глядя на догорающий лайнер. Города мы не видели, вместо города была черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало. "Перебьют нас, как кроликов, в темноте", – Сказал Роберт, и я сейчас же погнал его обратно на паром сгружать броневик. Трап проломился, и броневик упал в воду, и, когда Пек вытащил Роберта, синий от холода Роберт подошел ко мне и сказал, лязгая зубами: "Я же вам говорил, что темно..."

Амад вдруг сказал:

– Когда я был мальчишкой, я жил возле порта, и мы ходили сюда бить заводских. У них у многих были кастеты, и мне проломили нос. Пол–жизни я проходил с кривым носом, пока не починил его в прошлом году... Любил я подраться в молодости. У меня был кусок свинцовой трубы, и один раз я отсидел шесть месяцев, но это не помогло.

Он замолчал, ухмыляясь. Я подождал немного и сказал:

– Хорошую свинцовую трубу теперь не достать. Теперь в моде резиновые дубинки – перекупают у полицейских.

– Точно, – сказал Амад. – Или купит гантели, отпилит один шарик и пользуется. Но ребята пошли уже не те. Теперь за это высылают...

– Да, – сказал я. – А чем вы еще занимались в молодости?

– А вы?

– Я собирался стать межпланетником и тренировался на перегрузки. И еще мы играли в "Кто глубже нырнет".

– Мы тоже, – сказал Амад. – На десять метров за автоматами и виски. Там, за пирсами, они лежали ящиками. У меня из носа шла кровь... А когда началась заварушка, мы стали там находить покойников с рельсом на шее и бросили это дело.

– Очень неприятное зрелище – покойник под водой, – сказал я. Особенно когда течение.

Амад усмехнулся.

– Я видывал и не такое. Мне приходилось работать в полиции.

– Это уже после заварушки?

– Гораздо позже. Когда вышел закон о гангстерах.

– У вас их тоже называют гангстерами?

– А как их еще называть? Не разбойниками же... "Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет", – произнес он с выражением. – Не звучит, чувствуете? Разбойник – это топор, кистень, усы до ушей, тесак...

– Свинцовая труба, – предложил я.

Амад хохотнул.

– Что вы делаете сегодня вечером? – Спросил он.

– Гуляю.

– У вас тут есть знакомые?

– Есть. А что?

– Тогда другое дело.

– Почему?

– Хотел я вам кое–что предложить, но раз у вас есть знакомые...

– Между прочим, – сказал я, – кто у вас мэром?

– Мэром? Черт его знает, не помню. Выбирали кого–то...

– Не Пек Зенай случайно?

– Не знаю, – сказал Амад с сожалением. – Не хочу врать.

– А вы такого вообще не знаете?

– Зенай... Пек зенай... Нет, не знаю. Не слыхал. Он что, ваш приятель?

– Да. Старый приятель. У меня здесь есть еще друзья, но они все приезжие.

– Одним словом, так, – сказал Амад. – Если вам станет скучно и в голову полезут всякие мысли, приходите ко мне. Каждый божий вечер с семи часов я сижу в "Лакомке"... Любите вкусно поесть?

– Еще бы, – сказал я.

– Желудок в порядке?

– Как у страуса.

– Вот и приходите. Будет весело, и ни о чем не надо будет думать.

Амад притормозил и осторожно свернул к решетчатым воротам, которые бесшумно распахнулись перед нами. Машина вкатилась во двор.

– Приехали, – объявил Амад. – Вот ваш дом.

Дом был двухэтажный, белый с голубым. Окна изнутри были закрыты шторами. Чистенький дворик, выложенный разноцветными плитами, был пуст, вокруг был плодовый сад, ветви яблонь царапали стены.

– А где вдова? – Спросил я.

– Пойдемте в дом, – сказал Амад.

Он поднялся на крыльцо, листая записную книжку. Я, озираясь, шел следом. Садик мне нравился. Амад нашел нужную страницу, набрал комбинацию цифр на маленьком диске возле звонка, и дверь отворилась. Из дома пахнуло прохладным свежим воздухом. Там было темно, но, едва мы ступили в холл, вспыхнул свет. Амад сказал, пряча записную книжку:

– Направо – хозяйская половина, налево – ваша. Прошу... Здесь гостинная. Это бар, сейчас мы выпьем. Прошу дальше... Это ваш кабинет. У вас есть фонор?

– Нет.

– И не надо. Здесь все есть... Пройдемте сюда. Это спальня. Вот пультик акустической защиты. Умеете пользоваться?

– Разберусь.

– Хорошо. Защита трехслойная, можете устраивать себе здесь могилу или бордель, что вам понравится... Тут управление кондиционированием. Сделано, между прочим, неудобно: управлять можно только из спальни...

– Перебьюсь, – сказал я.

– Что? Ну да... Там ванная и туалет.

– Меня интересует вдова, – сказал я. – И дочка.

– Успеете. Поднять шторы?

– Зачем?

– Правильно, незачем... Пойдемьте выпьем.

Мы вернулись в гостинную, и Амад по пояс погрузился в бар.

– Вам покрепче? – Спросил он.

– Наоборот.

– Яичницу? Сэндвичи?

– Пожалуй, ничего.

– Нет, – сказал Амад. – Яичницу. С томатами. – Он рылся в баре. – Не знаю, в чем тут дело, но этот автомат готовит совершенно изумительные яичницы с томатами... Кстати, и я тоже перекушу.

Он вытянул из бара поднос и поставил на низенький столик перед полукруглой тахтой. Мы уселись.

– А как насчет вдовы? – Напомнил я. – Мне бы хотелось представиться.

– Комнаты вам нравятся?

– Ничего.

– Ну и вдова тоже вполне ничего. И дочка, между прочим. – Он достал из бокового кармана плоский кожанный футляр. В футляре, как патроны в обойме, рядом лежали ампулы с разноцветными жидкостями. Амад покопался в них указательным пальцем, сосредоточенно понюхал яичницу, поколебался, потом выбрал ампулу с чем–то зеленым и, осторожно надломив, покапал на томаты. В гостиной запахло. Запах не был неприятным, но на мой вкус не имел отношения к еде. – Но сейчас они еще спят, – продолжал Амад. Взгляд его стал рассеянным. – Спят и видят сны...

Я посмотрел на часы.

– Однако!

Амад кушал.

– Половина одиннадцатого, – сказал я.

Амад кушал. Шапочка его была сдвинута на затылок, и зеленый козырек торчал вертикально, как гребень у раздраженного мимикродона. Глаза его были полузакрыты. Я смотрел на него.

Проглотив последний ломтик помидора, он отломил корочку белого хлеба и тщательно подчистил сковородку. Взгляд его прояснился.

– Что вы там такое говорили? – Спросил он. – Половина одиннадцатого? Завтра вы тоже встанете в половине одиннадцатого. А может быть, и в двенадцать. Я, например, встану в двенадцать.

Он поднялся и с удовольствием потянулся, хрустя суставами.

– Фу, – сказал он, – можно, наконец, ехать домой. Вот вам моя карточка, Иван. Поставьте ее на письменный стол и не выбрасывайте до самого отъезда... – Он подошел к плоскому ящичку возле бара и сунул в щель другую карточку. Раздался звонкий щелчок. – А вот это, – сказал он, разглядывая карточку на просвет, – передайте вдове с моими наилучшими пожеланиями.

– И что будет? – Спросил я.

– Будут деньги. Надеюсь, вы не любитель торговаться, Иван? Вдова назовет вам цифру, и вам не следует торговаться. Это не принято.

– Постараюсь не торговаться, – сказал я. – Хотя интересно было бы попробовать.

Амад поднял брови.

– Ну, если вам так уж хочется, то отчего же не попробовать? Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение. Сейчас я принесу ваш чемодан.

– Мне нужны проспекты, – сказал я. – Мне нужны путеводители. Я писатель, Амад. Мне понадобятся брошюры об экономическом положении масс, статистические справочники. Где все это можно достать? И когда?

– Путеводитель я вам дам, – сказал Амад. – В путеводителе есть статистика, адреса, телефоны и все такое. А что касается масс, то у нас такой ерунды, по–моему, не издают. Можно, конечно, послать заказ в ЮНЕСКО, только зачем это вам? Сами все увидете... Подождите, я сейчас принесу чемодан и путеводитель.

Он вышел и быстро вернулся с чемоданом в одной руке и с толстеньким голубым томиком в другой. Я встал.

– Судя по вашему лицу, – произнес он улыбаясь, – вы раздумываете, прилично давать мне чаевые или нет.

– Признаться, да, – сказал я.

– У вас здоровая, крепкая натура, – одобрительно сказал Амад. – Не давайте. Никому не давайте чаевых. Можете получить по морде, особенно от девушек. Но зато никогда не торгуйтесь. Тоже можете получить. А вообще все это ерунда. Откуда я знаю, может, вы любите получать по морде, как тот самый Джонатан Крайс... Будьте здоровы, Иван. Развлекайтесь. И приходите в "Лакомку". В любой вечер с семи часов. А самое главное – ни о чем не думайте.

Он помахал рукой и вышел. Я сел, взял запотевший стакан со смесью и раскрыл путеводитель.

Глава вторая.

Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Вперемежку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало пятьдесят тысяч человек, полторы тысячи кошек, двадцать тысяч голубей и две тысячи собак (в том числе семьсот медалисток). В городе было пятнадцать тысяч легковых автомобилей, пятьсот вертолетов, тысяча такси (с шоферами и без), девятьсот автоматических мусорщиков, четыреста постоянных баров, кафе и закусочных, одиннадцать ресторанов, четыре отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до ста тысяч человек. В городе было шестьдесят тысяч телевизоров, пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных парков, два салона хорошего настроения, шестнадцать салонов красоты, сорок библиотек и сто восемьдесят парикмахерских автоматов. Восемьдесят процентов населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтез–комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было шесть школ и один университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировало восемь гражданских обществ, в том числе "Общество усердных дегустаторов", "Общество знатоков и ценителей" и "За старую добрую родину, против вредных влияний". Кроме того, полторы тысячи человек входили в семьсот один кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе соответственно шестое, двенадцатое и тринадцатое места. В городе было семь мужских и пять женских клубов, а также спортивные клубы "Быки" и "Носороги". Мэром города был избран (большинством в сорок шесть голосов) некто Флим Гао. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось...

Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась. Она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденной снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину изголодавших гостей.

Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стены тянулись полки, плотно уставленные собраниями сочинений. Чистые яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал пятидесятитомный энциклопедический словарь в издании ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных обложках.

На столе я прежде всего увидел телефон. Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Римайера. В трубке раздались протяжные гудки. Я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем–то на столе. Римайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка наполовину была использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание.

– Привет, привет и еще раз привет! – Произнес веселый мужской голос. – Крепко жму руку или целую щечку в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь два месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе – это "Хойти–Тойти" в парке Грез. Лучшая девочка в городе – Бася из дома Моделей. Лучший мальчик в городе – это я, но он уже уехал. По телевидению смотри девятую программу, остальное все зола. Не связывайся с интелями и держись подальше от "носорогов". Ничего не бери в кредит – хлопот не оберешься. Вдова – добрая женщина, но любит поговорить и вообще... А Вузи я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По–моему, она милашка, у вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще. Я приеду сюда в будущем году в марте, так что будь другом, если решишь вернуться – выбери другое время. Ну, будь..."

Забренчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось, так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось, и я отправился в спальню.

В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонор и маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати, в ногах. А над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни.

Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как–то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие–то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фонора запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что–то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием... Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную.

В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями. А на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой "Девон". Я выключил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда, и я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Рафка Рейзман громко спорил о чем–то с врачем, а в ванне еще колыхалась зеленая маслянистая вода, и над нею поднимался пар, и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Рафка не выключил его с раздражением... Это было в Вене, и там, точно так же как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате "Девон" – популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным–давно забыли и в Вене и здесь, в приморском курортном городе... Только в Вене было еще и страшно.

Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста: в ней осталась всего одна таблетка. Остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Римайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвились гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущий яблоками. Кто–то где–то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги и строгий женский голос сказал: "Вузи! Скушай хоть пирожок, слышишь?.." Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность (в соответствии с нынешней модой), пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостинной карточку Амада.

Вдова оказалась моложавой полной женщиной, несколько томной, со свежим приятным лицом.

– Как мило! – Сказала она, увидев меня. – Вы уже встали? Здравствуйте. Меня зовут Вайна Туур, но вы можете звать меня просто Вайна.

– Очень приятно, – признес я, светски содрогаясь. – Меня зовут Иван.

– Как мило! – Сказала тетя Вайна. – Какое оригинальное, мягкое имя! Вы завтракали, Иван?

– С вашего позволения, я намеревался позавтракать в городе, сказал я и протянул ей карточку.

– Ах, – сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет. – Этот милый Амад... Если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек! Но я вижу, что вы не завтракали... Ленч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал–полковник Туур говорил, что нигде в мире нельзя отведать такие гренки.

– С удовольствием, – сказал я, содрогаясь вторично.

Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блузке. В руке у нее был огрызок пирожка, она напевала через нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, ловко перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток.

– Вузи, – сказала тетя Вайна, поджимая губы, – Вузи, это Иван.

– Ничего себе! – Воскликнула Вузи. – Привет!

– Вузи! – Укоризнено сказала тетя Вайна.

– Вы с женой приехали? – Спросила Вузи, протягивая руку.

– Нет, – сказал я. Пальцы у нее были прохладные и мягкие. – Я один.

– Тогда я вам все покажу, – сказала она. – До вечера. Сейчас мне надо бежать. А вечером сходим.

– Вузи! – Укоризнено сказала тетя Вайна.

– Обязательно, – сказал я.

Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные, стройные, и стриженый затылок.

– Ах, Иван, – сказала тетя Вайна, тоже глядя ей в след, – в наше время так трудно с молодыми девушками! Так рано развиваются, так быстро нас покидают... С тех пор, как она поступила в этот салон...

– Она у вас портниха? – Осведомился я.

– О нет! Она работает в салоне хорошего настроения, в отделе для престарелых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. Вы сами видите, она не смогла даже с вами даже прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент... Вы можете не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура... Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут..

Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться, как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик, извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостинной, только стены были не голубые, а розовые, и за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гренками.

– Вы знаете, я тоже позавтракаю, – сказала она. – Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще и, уж во всяком случае, топлеными сливками, но мы так привыкли. Это любимый завтрак генерал–полковника. И вы знаете, я стараюсь брать только постояльцевмужчин, этот милый Амад хорошо понимает меня. Он понимает, как это нужно мне – хоть изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами за чашечкой топленых сливок...

– Ваши сливки изумительно хороши, – заметил я довольно искренне.

– Ах, Иван! – Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками. – Ведь вы сказали это почти так же, как генерал–полковник... И как странно, вы даже похожи на него. Только лицо у него было немного уже, и он завтракал всегда в мундире...

– Да, – сказал я с сожалением. – Мундира у меня нет.

– Но ведь был когда–то! – Сказала она, лукаво грозя мне пальчиком. – Я ведь вижу. Ах, как это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли? Но их всегда выдает выправка, совершенно особенная мужественная осанка. Этого не скроешь, Иван.

Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши: "М–да", взял гренок.

– Как все это нелепо, не правда ли? – С живостью продолжала тетя Вайна. – Как можно смешивать такие разнородные понятия война и армия? Мы все ненавидим войну. Война – это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит: вдруг приходят солдаты, грубые, чужие, говорят на чужом языке, отрыгиваются, офицеры так бесцеремонны и так некультурны, громко хохочут, обижают горничных, простите, пахнут, и этот бессмысленный комендантский час... Но ведь это война! Она достойна всяческого осуждения! И совсем иное дело

– армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину: войска, выстроенные побатальонно, строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек!

– Несомненно, – сказал я. – Несомненно, это многих впечатляло.

– Да! И очень многих! У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать армию? Это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. Это дико, это смешно – государство без армии...

– Смешно, – согласился я. – Вы не поверите, но с самого подписания пакта я не перестаю улыбаться.

– Да, я понимаю вас, – сказала тетя Вайна. – Нам больше ничего не осталось делать. Нам осталось только саркостически улыбаться. Генерал–полковник Туур, – она достала платочек, – он так и умер с саркастической усмешкой на устах... – Она приложила платочек к глазам. – Он говорил нам: "Друзья, я еще надеюсь дожить до того дня, когда все развалится". Надломленный, потерявший смысл существования. Он не вынес пустоты в сердце... – Она вдруг встрепенулась. – Вот взгляните, Иван...

Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице.

– Вот генерал–полковник.

Генерал–полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена. Самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленной лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть.

– А это генерал–полковник на маневрах.

Генерал–полковник и здесь был орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме треков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк "мамонт", предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно используемый глубоководниками.

– А это генерал–полковник в день своего пятидесятилетия.

Генерал–полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке и слушал тост в свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома.

– А это генерал–полковник на отдыхе.

Даже на отдыхе генерал–полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок трех или четырех лет. Генерал был жилист и мускулист, гренки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы.

– А это... – Начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостинную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показалась мне необычайно знакомыми.

– Доброе утро, – произнес он, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

Это был давешний таможенник все в том же белом мундире с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах.

– Ах, Пети! – Сказала тетя Вайна. Ты уже пришел? Познакомься, пожалуйста, это Иван... Иван, это Пети, друг нашего дома.

Таможенник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась.

– Садись, Пети, – сказала она, – я принесу тебе сливок.

Пети еще раз щелкнул каблуками и сел рядом со мной.

– Не желаете ли поинтересоваться? – Сейчас же осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника. – Вот это генерал–полковник Туур. Это он просто так. (В глазах таможенника появилось странное выражение.) А вот здесь генерал–полковник на маневрах. Видите? А вот здесь...

– Благодарю вас, – отрывисто сказал таможенник. – Не утруждайтесь, потому что...

Вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала:

– Как приятно видеть человека в мундире, не правда ли, Иван? Она поставила поднос на столик. – Пети, ты сегодня рано. Что–нибудь случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце...

Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на которой красовался вензиль "Т", осененный четырьмя звездочками.

– Ночью шел дождь, я просыпалась, значит, были тучи, – продолжала тетя Вайна. – А сейчас, взгляните, ни одного облачка... Еще чашечку, Иван?

Я встал.

– Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться. У меня деловое свидание.

Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала: "Ты не находишь, что он удивительно похож на штаб–майора Пола?.."

В спальне я распаковал чемодан и переложил одежду в стенной шкаф, и снова позвонил Римайеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, в другом – почтовый набор и пустая бутылка из–под смазки для аритмических двигателей. Остальные ящики были пусты, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложенного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. "Грин умер у рыбарей получай тело воскресенье соболезнуем Хугер Марта мальчики". Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марте было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, отчего и как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал: "Грин утонул во время рыбной ловли". В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес?

Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав под мышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал:

– Привет.

Реакция у меня не та, что прежде, но все–таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, а он глядел на меня, лежа на боку и выставив перед собой свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену. По стене текло. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки.

– Что–то ты, брат, нервный, – произнес я.

– Вы стойте, где стоите, – хрипло сказал мальчик. – Я вашего имени не называл.

– Да уж куда там, – сказал я. – Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело.

– Вы стойте, где стоите, – повторил мальчик. – И не двигайтесь. – Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой: – Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего...

– Не могу, – сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится.

– Почему? – Растерянно спросил мальчик. – Я все говорю, как надо.

– Я не могу уйти, не двигаясь, – объяснил я. – И стою, где стоял.

Рот у него снова приоткрылся.

– Хугер, – сказал он неуверенно. – Говорю тебе, Хугер: сгинь!

– Почему Хугер? – Удивился я. – Ты меня с кем–то путаешь. Я не Хугер, я Иван.

Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собой свою трубку.

– Я сдаюсь, – предупредил я. – Смотри не выпали.

Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как–то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что–то вроде игрушечного автомата – с удобной рефленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин.

– Что это за штука? – Спросил я.

– Ляпник, – сказал он угрюмо. – Дайте сюда.

Я отдал ему игрушку.

– Ляпник, – сказал я. – Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал? – Я посмотрел на стену. – Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять.

Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх.

– Это же ляпа, – сказал он.

– Да? А я–то думал – лимонад.

Лицо его приобрело, наконец, нормальную окраску и обнаружило определенное сходство с мужественными чертами генерал–полковника Туура.

– Да нет, – сказал он. – Это ляпа.

– Ну?

– Она высохнет.

– И тогда уже все окончательно пропало?

– Да нет же. Просто ничего не останется.

– Гм, – сказал я с сомнением. – Впрочем, тебе виднее. Будем надеяться на лучшее. Но я все–таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии. Как тебя зовут?

– Зигфрид, – сказал мальчик.

– А подумавши?

Он посмотрел на меня.

– Люцифер.

– Как?

– Люцифер.

– Люцифер, – сказал я. – Велиал. Астарет. Вельзевул и Азраил. А покороче у тебя ничего нет? Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер.

– Двери же закрыты, – сказал он и отступил на шаг. Лицо его снова побледнело.

– Ну и что?

Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял, наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему–то он не звал на помощь и почему–то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома.

– Зигфрид, – сказал я. – Зигфрид–Люцифер, ты ужасный трус. За кого ты меня принимаешь? – Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним. – Я ваш новый жилец, твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, а ты чуть не заляпал меня и теперь сам же меня боишься. Это я должен тебя бояться.

Все это очень напоминало одну сцену в Аньюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына хлыста. Елки–палки, неужели я до такой степени похож на гангстера?

– Ты похож на мускусную крысу чучундру, – сказал я, – которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты. У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки – мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек...

В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор только мелькнули грязные подошвы сандалий. Я вышел за ним.

Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть через плечо.

– Ну ладно, – сказал я. – Объясни мне, пожалуйста, что я должен делать. Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома. Дома, в котором я теперь живу. – Он молча смотрел на меня. – К твоей маме мне идти неудобно. Во–первых, у нее гости, а во–вторых...

– Вторая Пригородная, семьдесят восемь, – сказал он.

Я не торопясь уселся на крыльце. Между нами было метров десять.

– Ну и голосок у тебя! – Сказал я доверительно. – Как у моего знакомого бармена из Мирза–Чарле.

– Когда вы приехали? – Спросил он.

– Да вот... – Я посмотрел на часы. – Часа полтора назад.

– Тут до вас жил один, – сказал он и стал глядеть в сторону. Дрянь–человек. Подарил мне плавки, полосатые, я полез купаться, а они в воде растаяли.

– Ай–яй–яй! – Сказал я. – Это же чудовище какое–то, а не человек. Его надо было утопить в ляпе.

– Я не успел, – сказал мальчик. – Я хотел, да он уже уехал.

– Это тот самый Хугер? – Спросил я. – С Мартой и мальчиками?

– Нет. Откуда вы взяли? Хугер уже потом жил.

– Тоже дрянь–человек?

Он не ответил. Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив выполз автомобиль, поерзал, разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматическим бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глазах. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты. Но они летели довольно низко, и, пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по–видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что–то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. Не ляпнул бы он в меня оттуда, подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось будто все пятнадцать тысяч легковых автомобилей выкатились на вторую пригородную, и все пятьсот вертолетов повисли над домом семьдесят восемь. Это продолжалось минут десять, мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Римайеру. Затем все стало, как прежде: улица опустела, запах бензина рассеялся, в небе стало чисто.

– Куда это они все сразу? – Спросил я.

Мальчик пошуршал в кустах.

– А вы что, не знаете? – Сказал он.

– Откуда же мне знать?

– А я не знаю – откуда. Хугера–то вы откуда–то знаете...

– Хугера... – Сказал я. – Хугера я знаю совершенно случайно. А про вас ничего не знаю. Как вы тут живете, чем занимаетесь... Вот что ты там сейчас делаешь?

– Предохранитель испортился.

– Так давай его сюда, я починю. Чего ты меня так боишься? Я похож на какого–нибудь дрянь–человека?

– Они все на работу поехали, – сказал мальчик.

– Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете... Ты знаешь, где отель "Олимпик"?

– Знаю, конечно.

– Проводишь меня?

Мальчик помедлил.

– Нет, – сказал он.

– Почему?

– Сейчас школа кончается. Мне надо домой идти.

– Ах, вот оно что! – Сказал я. – Ты, значит, филонишь? Или, как у нас говорили, мотаешь?.. И в каком же ты классе?

– В третьем.

– Я тоже когда–то учился в третьем.

Он высунулся из кустов.

– А потом?

– А потом в четвертом. – Я поднялся. – Ну ладно. Разговаривать со мной ты не хочешь, проводить меня ты не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я к себе. Ну, что смотришь? Даже не хочешь мне сказать, как тебя зовут...

Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл был обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно–черная клякса на стене не собиралась высыхать. Кому–то сегодня влетит, подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. Так, подумал я, это мы тоже понимаем. Я отвязал бечевку и сунул клубок в карман.

В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии: "Прибыл благополучно вторая Пригородная семьдесят восемь целую Иван". В путеводителе я нашел телефон бюро обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Римайеру. И снова Римайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрел в зеркало, пересчитал деньги и собрался уже выходить, как заметил, что дверь в гостинную приоткрыта и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась – осталась торчать только себристая трубка ляпника. Усевшись в кресло, я по очереди открыл и закрыл все двенадцать ящиков стола включая потайные, и только тогда снова поглядел на дверь. Мальчик стоял на пороге.

– Меня зовут Лэн, – сообщил он.

– Приветствую тебя, Лэн, – сказал я рассеянно. – Меня зовут Иван. Заходи. Правда, я уже собрался обедать. Ты еще не обедал сегодня?

– Нет.

– Вот и хорошо. Сбегай, отпросись у мамы, и пойдем.

Лэн помолчал, глядя в пол.

– Еще рано, – сказал он.

– Что рано? Обедать?

– Нет, идти... Туда. Школа только через двадцать минут кончается. – Он снова помолчал. – И потом там этот толстый хмырь со шнурами.

– Дрянь–человек? – Спросил я.

– Да, – сказал Лэн. – Вы правда уходите сейчас?

– Да, ухожу, – сказал я и достал из кармана клубок бечевки. На вот, возьми. А если бы мать первой вышла?

Он пожал плечом.

– Если вы вправду уходите, – сказал он, – то, можно, я у вас посижу?

– Ну что ж, посиди.

– А здесь больше никого нет?

– Никого.

Он так и не подошел ко мне, чтобы взять бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал:

– Сиди сколько хочешь. Я вернусь не скоро.

– Я тут посплю, – сказал Лэн.

Глава третья.

Отель "Олимпик" был пятнадцатиэтажный, красный с черным. Половина площади перед ним была заставлена автомобилями, в центре площади в маленьком цветнике возвышался монумент, изображающий человека с гордо поднятой головой. Огибая монумент, я вдруг обнаружил, что человек этот мне знаком. Я в замешательстве остановился и пригляделся. Несомненно, в смешном старомодном костюме, опираясь рукой на непонятный аппарат, который я принял было за продолжение абстрактного постамента, устремив презрительно сощуренные глаза в бесконечность, на площади перед отелем "олимпик" Стоял владимир сергеевич юрковский. На постаменте позолоченными буквами была вырезана надпись: "владимир юрковский, 5 декабря, год весов".

Я не поверил, потому что это было совершенно невозможно. Юрковским не ставят памятников. Пока они живы, их назначают на более или менее ответственные посты, их чествуют на юбилеях, их выбирают членами академий. Их награждают орденами и удостаивают международных премий. А когда они умирают – или погибают, – о них пишут книги, их цитируют, ссылаются на их работы, но чем дальше, тем реже, а потом, наконец, забывают о них. Они уходят из памяти и остаются только в книгах. Владимир сергеевич был генералом науки и замечательным человеком. Но невозможно поставить памятники всем генералам и всем замечательным людям, тем более в странах, к которым они никогда не имели прямого отношения, и в городах, где они если и бывали, то разве что проездом... А в этом их году весов юрковский не был даже генералом. В марте он вместе с дауге заканчивал исследования аморфного пятна на уране, и один бомбозонд взорвался у нас в рабочем отсеке, попало всем, и, когда в сентябре мы вернулись на планету, юрковский был в сиреневых лишаях, злой и говорил, что вот вволю поплавает и позагорает и засядет за проект нового бомбозонда, потому что старый – дерьмо... Я оглянулся на отель. Мне оставалось только сделать вывод, что жизнь города находится в таинственной и весьма мощной зависимости от аморфного пятна на уране. Или находилась... Юрковский высокомерно улыбался. Вообще скульптура была хорошая, но я не понимал, на что юрковский опирается. На бомбозонд этот аппарат похож не был...

Что–то зашипело у меня над ухом. Я повернул голову и невольно отстранился. Рядом со мной, тупо уставясь в постамент, стоял длинный худой человек, с ног до шеи затянутый в какую–то серую чешую, с громоздким кубическим шлемом на голове. Лицо человека закрывала стеклянная пластина с дырочками. Из дырочек в такт дыханию вырывались струйки дыма. Изможденное лицо за стеклянной пластиной было залито потом и часто–часто екало щеками. Сначала я принял его за пришельца, затем подумал, что это курортник, которому прописаны особые процедуры, и только тут догадался, что это артик.

– Простите, – сказал я. – Вы мне не скажите, что это за памятник?

Мокрое лицо совсем исказилось.

– Что? – Глухо донеслось из–под шлема.

Я нагнулся.

– Я спрашиваю: что это за памятник?

Человек снова уставился на постамент. Дым из дырочек пошел гуще. Снова раздалось сильное шипение.

– Владимир юрковский, – прочитал он. – Пятое декабря, год весов... Ага... Декабря... Ну... Так это какой–нибудь немец...

– А кто этот памятник поставил?

– Не знаю, – сказал человек. – Тут же написано. А зачем вам?

– Это мой знакомый, – об"яснил я.

– Тогда чего вы спрашиваете? Спросили бы у него самого.

– Он умер.

– А–а... Так, может, его здесь похоронили?

– Нет, – сказал я. – Он далеко похоронен.

– Где похоронен?

– Далеко!.. А что это за штука, на которую он опирается?

– Какая штука? Это эрула.

– Что?

– Эрула, говорю! Электронная рулетка.

Я вытаращил глаза.

– Причем здесь рулетка?

– Где?

– Здесь, на памятнике.

– Не знаю, – сказал человек, подумав. – Может, ваш приятель ее изобрел?

– Вряд ли, – сказал я. – Он работал в другой области.

– А какой?

– Он был планетолог и планетолетчик.

– А–а... Ну, если он ее изобрел, то молодец. Полезная вещь. Надо бы запомнить: юрковский владимир. Головастый был немец...

– Вряд ли он ее изобрел, – сказал я. – Я же говорю, он был планетолетчик.

Человек воззрился на меня.

– А если не он изобрел, тогда почему он с нею стоит, а?

– Так в том–то и дело, – сказал я. – Сам удивляюсь.

– Врешь ты все, – сказал человек неожиданно. – Врешь и сам не знаешь, зачем врешь. С самого утра, а уже наелся... Алкоголик! – Он повернулся и побрел прочь, волоча тощие ноги и звучно шипя.

Я пожал плечами, последний раз глянул на владимира сергеевича и через просторную, как аэродром, площадь направился к отелю.

Гигантский швейцар откатил передо мною дверь и звучно сказал: "Милости просим". Я остановился.

– Будьте любезны, – сказал я. – Вы не знаете, что это за памятник?

Швейцар посмотрел поверх моей головы на площадь. На лице его изобразилось замешательство.

– А разве там... Не написано?

– Написано, – сказал я. – Но кто поставил этот памятник? И за что?

Швейцар переступил с ноги на ногу.

– Прошу прощения, – виновато сказал он. – Никак не могу ответить на этот вопрос. Он здесь давно стоит, а я совсем недавно... Боюсь вас дезинформировать. Может быть, портье...

Я вздохнул.

– Ну хорошо, не беспокойтесь. Где у вас здесь телефон?

– Направо, прошу вас, – сказал швейцар обрадованно.

Ко мне было устремился портье, но я помотал головой, взял трубку и набрал номер Римайера. На этот раз телефон оказался занят. Я направился к лифту и поднялся на девятый этаж.

Римайер, грузный, с непривычно обрюзшим лицом, встретил меня в халате, из–под которого виднелись ноги в брюках и ботинках. В комнате воняло застоявшимся табачным дымом, пепельница на столе была полна окурков. Вообще в номере царил кавардак. Одно кресло было опрокинуто, на дИване валялась скомканная сорочка, явно женская, под подоконником и под столом блестели батареи пустых бутылок.

– Чем могу служить? – Неприветливо осведомился Римайер, глядя мне в подбородок. По–видимому, он только что вышел из ванны – редкие светлые волосы на его длинном черепе были мокры.

Я молча протянул ему свою карточку. Римайер внимательно прочитал ее, медленно сунул в карман халата и, по–прежнему глядя мне в подбородок, сказал: "Садитесь". Я сел.

– Очень неудачно получается, – сказал он. – Я чертовски занят, и нет ни минуты времени.

– Я несколько раз звонил вам сегодня, – сказал я.

– Я только что вернулся... Как вас зовут?

– Иван.

– А фамилия?

– Жилин.

– Видите ли, жилин... Короче говоря, я должен сейчас одеться и уйти опять... – Он помолчал, растирая ладонью вялые щеки. – Да, собственно, и говорить–то... Впрочем, если хотите, посидите здесь и подождите меня. Если не вернусь через час, уходите и возвращайтесь завтра к двенадцати. Да, оставьте мне ваш адрес и телефон, запишите прямо на столе... – Он сбросил халат и, волоча его по полу, ушел в соседнюю комнату. – А пока осмотрите город. Скверный городишко... Но этим все равно надо заниматься. Меня уже тошнит от него... – Он вернулся, затягивая галстук. Руки у него дрожали, кожа на лице была дряблой и серой. Я вдруг ощутил, что не доверяю ему, – смотреть на него неприятно, как на запущенного больного.

– Вы плохо выглядите, – сказал я. – Вы сильно изменились.

Римайер впервые взглянул мне в глаза.

– А откуда вы знаете, какой я был раньше?

– Я видел вас у марии... Много курите, Римайер, а табак теперь сплошь и рядом пропитывают дрянью.

– Ерунда это – табак, – сказал он с неожиданным раздражением. – Здесь все дрянью пропитывают... А в общем–то вы правы, наверное, надо бросать. – Он медленно натянул пиджак. – Надо бросать... – Повторил он. – И вообще не надо было начинать.

– Как идет работа?

– Бывало и хуже. На редкость захватывающая работа. Он как–то неприятно усмехнулся. – Ну, я пойду. Меня ждут, я опаздываю. Значит, либо через час, либо завтра в двенадцать.

Он кивнул и вышел.

Я записал на телефонном столике свой адрес и телефон, и, в"Ехав ногой в кучу бутылок, подумал, что работа была, по–видимому, действительно захватывающая. Я позвонил портье и потребовал в номер уборщицу. Вежливейший голос ответил, что хозяин номера категорически запретил обслуживающему персоналу появляться в номере в его отсутствие и повторил это запрещение только что, выходя из отеля. "Ага", – Сказал я и повесил трубку. Мне это не слишком понравилось. Сам я таких приказаний никогда не отдаю и никогда ни от кого ничего не скрываю, даже записную книжку. Глупо создавать ненужные впечатления, лучше поменьше пить. Я поднял опрокинутое кресло, уселся и приготовился ждать, стараясь подавить чувство недовольства и разочарования.

Ждать пришлось недолго. Минут через пять дверь приоткрылась, и в комнату просунулась хорошенькая женская мордочка.

– Эй! – Чуть сипло произнесла мордочка. – Римайер дома?

– Римайера нет, – сказал я. – Но вы все равно заходите.

Она поколебалась, рассматривая меня. По–видимому, она не собиралась заходить, просто заглянула мимоходом.

– Заходите, заходите, – сказал я. – А то мне одному скучно.

Она вошла легкой танцующей походкой и, подбоченясь, остановилась передо мной. У нее был короткий вздернутый нос и растрепанная мальчишеская прическа. Волосы были рыжие, шорты ярко–красные, а голошейка навыпуск – яично–желтая. Яркая женщина. И довольно приятная. Ей было лет двадцать пять.

– Ждете? – Сказала она.

Глаза ее блестели, и от нее пахло вином, табаком и духами.

– Жду, – сказал я. – Садитесь, будем ждать вместе.

Она повалилась на тахту напротив меня и задрала ноги на телефонный столик.

– Киньте сигаретку рабочему человеку, – сказала она. Пять часов не курила.

– Я некурящий... Позвонить, чтобы принесли?

– Господи, и здесь грустец... Оставьте телефон, а то опять припрется эта баба... Пошарьте в пепельнице и найдите бычок подлиннее!

В пепельнице было полно длинных бычков.

– Они все в помаде, – сказал я.

– Давайте, давайте, это моя помада. Как вас зовут?

– Иван.

Она щелкнула зажигалкой и закурила.

– А меня – илина. Вы тоже иностранец? Вы все иностранцы какие–то широкие. Что вы здесь делаете?

– Жду Римайера.

– Да нет. Чего вас принесло к нам? От жены спасаетесь?

– Я не женат, – сказал я скромно. – Я приехал написать книгу.

– Книгу? Ну и знакомые же у этого Римайера... Книгу он приехал написать. Проблема пола у спортсменов–импотентов. Как у вас с проблемой пола?

– Это для меня не проблема, – сказал я скромно. – А для вас?

– Но–но... Полегче. Здесь вам не париж. Патлы сначала обрежь, а то сидит как перш...

– Как кто? – Я был очень терпелив, ждать еще осталось сорок пять минут.

– Как перш. Знаешь, ходят такие... – Она стала делать руками неопределенные движения возле ушей.

– Не знаю, – сказал я. – Я здесь недавно. Я еще ничего не знаю. Расскажите, это интересно.

– Ну, уж нет, только не я. У нас не болтают. Наше дело маленькое – подай, прибери, скаль зубы и помалкивай. Профессиональная тайна. Слыхал про такого зверя?

– Слыхал, – сказал я. – А где это "у вас"? У врачей?

Почему–то ей это показалось очень смешным.

– У врачей!.. Надо же... – Хохотала она. – А ты парень ничего, с язычком... У нас в бюро тоже есть один такой. Как скажет – все лежат. Когда мы рыбарей обслуживаем, его всегда назначают, рыбари любят повеселиться.

– Да и кто не любит? – Сказал я.

– Это ты зря. Интели, например, его прогнали. "Уберите", – Говорят, – дурака..." Или вот нынче, у этих беременных мужиков...

– У кого?

– У грустецов. Слушай, а ты, я вижу, ничего не понимаешь. Откуда ты такой приехал?

– Из вены, – сказал я.

– Ну и что? У вас в вене нет грустецов?

– Вы представить себе не можете, чего только нет в вене.

– Может быть, у вас там и нерегулярных собраний нет?

– У нас – нет, – сказал я. – У нас все собрания регулярные. Как автобусная линия.

Она развлекалась.

– Может, у вас и официанток нет?

– Официантки есть. Причем попадаются превосходные экземпляры. Значит, вы официантка?

Она вдруг вскочила.

– Не–ет, так у нас дело не пойдет! – Закричала она. Хватит с меня грустецов на сегодня. Сейчас ты у меня выпьешь со мной на брудершафт, как миленький... – Она принялась валить бутылки под окном. – Вот стервы, все пустые... Может, ты и непьющий? Ага, вот есть немного вермута... Будешь вермут? Или спросить виски?

– Начнем с вермута, – сказал я.

Она грохнула бутылку на столик и взяла с подоконника два стакана.

– Надо вымыть, погоди минутку, накидали мусора... Она ушла в ванную и продолжала говорить оттуда: – если бы ты еще оказался непьющим, я бы не знаю, что с тобой сделала... Ну и кабак у него здесь, в ванной, люблю! Ты где остановился, тоже здесь?

– Нет, в городе, – ответил я. – На второй пригородной.

Она вернулась со стаканами.

– С водой или чистого?

– Пожалуй, чистого.

– Все иностранцы пьют чистое. А у нас почему–то пьют с водой. – Она села ко мне на подлокотник и обняла меня за плечи. От нее здорово пахло спиртным. – Ну, на "Ты"...

Мы выпили и поцеловались. Без всякого удовольствия. Губы у нее оказались сильно накрашены, а веки тяжелы от бессонницы и усталости. Она поставила стакан, отыскала в пепельнице еще один окурок и вернулась на тахту.

– Где же этот Римайер? – Сказала она. – Сколько можно ждать? Ты его давно знаешь?

– Нет, не очень.

– По–моему, он сволочь, – сказала она с неожиданной злобой. – Все выпытал, а теперь скрывается. Не открывает скотина, и не дозвонишься к нему. Слушай, а он не шпик?

– Какой шпик?

– А, много их, сволочей... Из общества трезвости, нравственности... Знатоки и ценители тоже дрянь хорошая...

– Нет, Римайер порядочный человек, – сказал я с некоторым усилием.

– Порядочный... Все вы порядочные. Поначалу. Римайер тоже был порядочным, таким прикидывался добреньким, веселеньким... А теперь смотрит, как крокодил!

– Бедняга, – сказал я. – Он, наверное, вспомнил о семье, и ему стало стыдно.

– Да нет у него никакой семьи. И вообще, ну его к черту! Налить тебе еще?

Мы выпили еще. Она легла и закинула руки за голову. Затем она сказала:

– да ты не расстраивайся. Плюнь. Вина у нас полно, спляшем, сбегаем на дрожку... Завтра футбол, поставим на "Быков"...

– Да я и не расстраиваюсь. На "Быков" так на "Быков".

– Ах, "Быки"! Какие мальчики! Век бы смотрела... Руки как железо, прижмешься к нему – как к дереву, честное слово...

В дверь постучали.

– Заходи! – Заорала илина.

В комнату вошел и сразу остановился высокий костлявый человек средних лет со светлыми выпуклыми глазами.

– Виноват, – сказал он. – Я хотел видеть Римайера.

– Здесь все хотят видеть Римайера, – сказала илина. Присаживайтесь, будем ждать вместе.

Незнакомец наклонил голову и присел к столу, положив ногу на ногу.

Вероятно, он был здесь не впервые. Он не озирался по сторонам, а глядел в стену прямо перед собой. Впрочем, может быть, он был не любопытен. Во всяком случае, ни я, ни илина его явно не интересовали. Мне это показалось неестественным: по–моему, такая пара, как я и илина, должна была заинтересовать любого нормального человека. Илина приподнялась на локте и стала пристально рассматривать незнакомца.

– Я вас где–то уже видела, – об"Явила она.

– В самом деле? – Холодно сказал незнакомец.

– Как вас зовут?

– Оскар. Я приятель Римайера.

– Вот славно, – сказала илина. Ее явно раздражало безразличие незнакомца, но пока она сдерживалась. – Он тоже приятель Римайера, – она показала на меня пальцем. – Вы знакомы?

– Нет, – сказал оскар, по–прежнему глядя в стену.

– Меня зовут Иван, – сказал я. – А это приятельница Римайера. Ее зовут илина, и мы с нею только что выпили на брудершафт.

Оскар довольно равнодушно взглянул на илину и вежливо наклонил голову. Илина, не сводя с него глаз, взяла бутылку.

– Здесь еще немного осталось, – сказала она. – Хотите выпить, оскар?

– Нет, благодарю вас, – холодно ответил оскар.

– На брудершафт! – Сказала илина. – Не хотите? Зря.

Она плеснула вина в мой стакан, а остатки вылила в свой и сейчас же выпила.

– В жизни бы не подумала, – сказала она, – что у Римайера могут быть друзья, которые откажутся выпить. А ведь я вас все–таки где–то видела!

Оскар пожал плечами.

– Вряд ли, – сказал он.

Илина накалялась на глазах.

– Сволочь какая–нибудь, – сообщила она мне громко. Алло, оскар, может, вы интель?

– Нет.

– Как же нет? – Сказала илина. – Ясно, что интель. Вы еще поцапались в "ласочке" С плешивым лейзом, зеркало расколотили, а моди надавала вам оплеух...

Каменное лицо оскара слегка порозовело.

– Уверяю вас, – произнес он очень вежливо, – я не интель и никогда в жизни не был в "ласочке".

– Что же я вру по–вашему? – Сказала илина.

Тут я на всякий случай снял со столика бутылку и поставил под кресло.

– Я приезжий, – сказал оскар. – Турист.

– Давно прибыли? – Спросил я, чтобы разрядить атмосферу.

– Нет, недавно, – ответил оскар. Он по–прежнему глядел в стену. Железной выдержки человек.

– А–а! – Сказала вдруг илина. – Помню... Это я все напутала. – Она расхохоталась. – Никакой вы не интель, конечно... Вы же были позавчера у нас в бюро. Вы коммивояжер, да? Вы предлагали управляющему партию какой–то дряни... "Дюгонь"... "Дюпон"...

– "Девон", – Подсказал я. – Есть такой репеллент, "девон".

Оскар впервые улыбнулся.

– Совершенно верно, – сказал он. – Но я не коммивояжер, конечно. Я просто выполнил поручение моего родственника.

– Это другое дело, – сказала илина и вскочила. – Так бы и сказали. Иван, нам всем нужно выпить на брудершафт. Я позвоню... Нет, лучше я сбегаю. А вы пока поболтайте. Я сейчас...

Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью.

– Веселая женщина, – сказал я.

– Да, чрезвычайно. Вы местный?

– Нет, я тоже приезжий... Какая странная идея пришла в голову вашему родственнику!

– Что вы имеете в виду?

– Кому нужен "девон" В курортном городе?

Оскар пожал плечами.

– Мне трудно судить об этом, я не химик. Но согласитесь, нам часто трудно понять даже поступки наших ближних, не то что их фантазии... Так "девон", Оказывается... Как вы его назвали? Реце...

– Репеллент, – сказал я.

– Это, кажется, для комаров?

– Не столько для, сколько против.

– Вы, я вижу, хорошо в этом разбираетесь, – сказал оскар.

– Мне приходилось им пользоваться.

– Ах, даже так...

Что за черт? – Подумал я. Что он всем этим хочет сказать? Он больше не смотрел в стену. Он смотрел мне прямо в глаза и улыбался. Но если он хотел что–нибудь сказать, то он уже сказал. Он встал.

– Пожалуй, я не стану больше ждать, – произнес он. Насколько я понимаю, меня здесь вынудят пить на брудершафт. А я приехал сюда не пить. Я приехал сюда лечиться. Передайте, пожалуйста, Римайеру, что я буду звонить ему сегодня вечером. Не забудете?

– Нет, – сказал я. – Не забуду. Если я скажу, что заходил оскар, он поймет, о ком идет речь?

– Да, конечно. Это мое настоящее имя.

Он поклонился и вышел размеренным шагом, не оглянувшись, прямой и весь какой–то неестественный. Я запустил пальцы в пепельницу, выбрал окурок без помады и несколько раз затянулся. Табак мне не понравился. Я потушил окурок. Оскар мне тоже не понравился. И илина. И Римайер мне тоже очень не понравился. Я перебрал бутылки, но все они были пустые.

Глава четвертая.

Римайера я не дождался. Илина так и не вернулась. Мне надоело сидеть в прокуренной комнате, и я спустился вниз, в вестибюль. Я намеревался пообедать и остановился, озираясь, где здесь ресторан. Около меня мгновенно возник портье.

– К вашим услугам, – нежно прошелестел он. Автомобиль? Ресторан? Бар? Салон?

– Какой салон? – Полюбопытствовал я.

– Парикмахерский салон. – Он деликатно взглянул на мою прическу. – Сегодня принимает мастер гаоэй. Усиленно рекомендую.

Я вспомнил, что илина назвала меня, кажется, патлатым першем, и сказал: "ну что ж, пожалуй". – "Прошу за мной", Сказал портье. Мы пересекли вестибюль. Портье приоткрыл низкую широкую дверь и негромко сказал в пустоту обширного помещения:

– простите, мастер, к вам клиент.

– Прошу, – произнес спокойный голос.

Я вошел в салон. В салоне было светло и хорошо пахло, блестел никель, блестели зеркала, блестел старинный паркет. С потолка на блестящих штангах свисали блестящие полушария. В центре зала стояло огромное белое кресло. Мастер двигался мне навстречу. У него были пристальные неподвижные глаза, крючковатый нос и седая эспаньолка. Больше всего он напоминал пожилого, опытного хирурга. Я робко поздоровался. Он коротко кивнул и, озирая меня с головы до ног, стал обходить меня сбоку. Мне стало неуютно.

– Приведите меня в соответствие с модой, – сказал я, стараясь не выпускать его из поля зрения. Но он мягко прижал мой рукав и несколько секунд дышал за моей спиной, бормоча: "несомненно... Вне всякого сомнения..." Потом я почувствовал, как он прикоснулся к моему плечу.

– Несколько шагов вперед, прошу вас, – сказал он строго. – Пять–шесть шагов, а потом остановитесь и резко повернитесь кругом.

Я повиновался. Он задумчиво разглядывал меня, пощипывая бородку. Мне показалось, что он колеблется.

– Впрочем, – сказал он неожиданно, – садитесь.

– Куда? – Спросил я.

– В кресло, в кресло, – сказал он.

Я опустился в кресло и смотрел, как он снова медленно приближается ко мне. На его интеллигентнейшем лице вдруг появилось выражение огромной досады.

– Ну как же так можно? – Произнес он. – Это же ужастно!..

Я не нашелся что ответить.

– Сырье... Дисгармония... – Бормотал он. – Безобразно... Безобразно!

– Неужели до такой степени плохо? – Спросил я.

– Я не понимаю, зачем вы пришли ко мне, – сказал он. Ведь вы не придаете своей внешности никакого значения.

– С сегодняшнего дня начинаю придавать, – сказал я.

Он махнул рукой.

– Оставьте!.. Я буду работать вас, но... – Он затряс головой, стремительно повернулся и отошел к высокому столу, уставленному блестящими приборами. Спинка кресла мягко откинулась, и я оказался в полулежачем положении. Сверху на меня надвинулось большое полушарие, излучающее тепло, и сотни крошечных иголок тотчас закололи мне затылок, вызывая странное ощущение боли и удовольствия одновременно.

– Прошло? – Спросил мастер, не оборачиваясь. Ощущение исчезло.

– Прошло, – ответил я.

– Кожа у вас хорошая, – с некоторым удовольствием проворчал мастер.

Он вернулся ко мне с набором необыкновенных инструментов и принялся ощупывать мои щеки.

– И все–таки мироза вышла за него, – сказал он вдруг. – Я ожидал всего, чего угодно, но только не этого. После того как левант столько сделал для нее... Вы помните этот момент, когда они плачут над умирающей пини? Можно было держать любое пари, что они вместе навсегда. И теперь, представьте себе, она выходит за этого литератора.

У меня есть правило: подхватывать и поддерживать любой разговор. Когда не знаешь, о чем идет речь, это даже интересно.

– Ненадолго, – сказал я уверенно. – Литераторы непостоянны, уверяю вас. Я сам литератор.

Его пальцы на секунду замерли на моих веках.

– Это не приходило мне в голову, – признался он. Все–таки брак, хотя и гражданский... Надо не забыть позвонить жене. Она была очень расстроена.

– Я ее не понимаю, – сказал я. – Хотя мне всегда казалось, что левант сперва был влюблен в эту... В пини.

– Влюблен? – Воскликнул мастер, заходя с другого бока. – Ну, разумеется, он любил ее! Безумно любил! Как может любить только одинокий, всеми отвергнутый мужчина!

– И поэтому совершенно естественно, что после смерти пини он искал утешения у ее лучшей подруги...

– Подруги... Да, – сказал одобрительно мастер, щекоча меня за ухом. – Мироза обожала пини. Это очень точное слово: именно подруга! В вас сразу чувствуется литератор. И пини тоже обожала мирозу...

– Но заметьте, – подхватил я. – Ведь пини с самого начала подозревала, что мироза неравнодушна к леванту.

– О, конечно. Они необычайно чутки к таким вещам. Это было ясно каждому, моя жена сразу обратила на это внимание. Я помню, она подталкивала меня локтем каждый раз, когда пини садилась за кудрявую головку мирозы и так лукаво, знаете ли, выжидательно поглядывала на леванта...

На этот раз я промолчал.

– Вообще я глубоко убежден, – продолжал он, – что птицы чувствуют не менее тонко, чем люди.

Ага, подумал я и сказал:

– не знаю, как птицы вообще, но пини была гораздо более чуткой, чем, может быть, даже мы с вами.

Что–то коротко прожужжало у меня над макушкой, слабо звякнул металл.

– Вы говорите слово в слово как моя жена, – заметил мастер. – Вам, наверное, должен нравится дэн. Я был потрясен, когда он сумел сработать бункин этой японской герцогине... Не помню ее имени. Ведь никто, ни один человек не верил дэну. Сам японский король...

– Простите, – сказал я. – Бункин?

– Да, вы же не специалист... Ну вы помните тот момент, когда японская герцогиня выходит из застенка. Ее волосы, высокий вал белокурых волос, украшенных драгоценными гребнями...

– А–а, – догадался я. – Это прическа!

– Да, она даже вошла на время в моду в прошлом году. Хотя настоящий бункин у нас могли делать единицы... Как и настоящий шиньон, между прочим. И конечно, никто не мог поверить, что дэн с обожженными руками, полуослепший... Вы помните, как он ослеп?

– Это было потрясающе, – проговорил я.

– О–о, дэн был настоящий мастер. Сделать бункин без электрообработки, без биоразвертки... Вы знаете, продолжал он, и в голосе его послышалось волнение, – мне сейчас пришло в голову, что мироза должна, когда расстанется с этим литератором, выйти не за леванта, а за дэна. Она будет вывозить его в кресле на веранду, они будут слушать при луне поющих соловьев... Вместе, вдвоем...

– И тихо плакать от счастья, – сказал я.

– Да... – Голос мастера прервался. – Это будет только справедливо. Иначе я просто не знаю... Иначе я просто не понимаю, к чему вся наша борьба... Нет, мы должны потребовать. Я сегодня же пойду в союз.

Я снова промолчал. Мастер прерывисто дышал у меня над ухом.

– Пусть бреются в автоматах, – сказал он вдруг мстительно. – Пусть ходят, как ощипанные гуси. Мы дали им попробовать однажды, что это такое, посмотрим теперь, как это им понравилось.

– Боюсь, это будет непросто, – сказал я осторожно, потому что ничего не понимал.

– А мы, мастера, привыкли к сложному. Непросто! А когда к вам является жирное чучело, потное и страшное, и вам нужно сделать из него человека... Или по крайней мере нечто такое, что в обыденной жизни не отличается от человека... Это что, просто?! Помните, как сказал дэн? "женщина рождает человека раз в девять месяцев, а мы, мастера, делаем это каждый день". Разве это не превосходные слова?

– Дэн говорил о парикмахерах? – Спросил я на всякий случай.

– Дэн говорил о мастерах! "На нас держится красота мира" – Говорил он. И еще, помните? "Для того чтобы сделать из обезьяны человека, дарвину нужно было быть отличным мастером".

Я решился сдаться и признался:

– вот этого я уже не помню.

– А вы давно смотрите "розу салона"?

– Да я совсем недавно приехал.

– А–а... Тогда вы много потеряли. Мы с женой смотрим эту историю уже седьмой год, каждый вторник. Мы пропустили только один раз: у меня был приступ, и я потерял сознание. Но во всем городе только один человек не пропустил ни разу – мастер миль из центрального салона.

Он отошел на несколько шагов, включил и выключил разноцветные софиты и вновь принялся за дело.

– Седьмой год, – повторил он. – И теперь представьте себе: в позапрошлом году они убивают мирозу и бросают леванта в японские застенки пожизненно, а дэна сжигают на костре. Вы можете себе это представить?

– Это невозможно, – сказал я. – Дэна? На костре? Правда, бруно тоже сожгли на костре...

– Возможно... – Нетерпеливо сказал мастер. – Во всяком случае, нам стало ясно, что они хотят быстренько свернуть программу. Но мы этого не потерпели. Мы об"явили забастовку и боролись три недели. Миль и я пикетировали парикмахерские автоматы. И должен вам сказать, что значительная часть горожан нам сочувствовала

– еще бы, – сказал я. – И что же? Вы победили?

– Как видите. Они прекрасно поняли, что это такое, и теперь телецентр знает, с кем имеет дело. Мы не отступили ни на шаг, и если понадобится – не отступим. Во всяком случае, теперь по вторникам мы отдыхаем, как встарь по–настоящему.

– А в остальные дни?

– А в остальные дни ждем вторника и гадаем, что ожидает нас, чем вы, литераторы, нас порадуете, спорим и заключаем пари... Впрочем, у нас, мастеров, не так много досуга.

– Большая клиентура, вероятно?

– Нет, дело не в этом. Я имею в виду домашние занятия. Стать мастером нетрудно,

трудно оставаться мастером. Масса литературы, масса новых методов, новых приложений, за всем надо следить, надо непрерывно экспериментировать, исследовать, и надо непрерывно следить за смежными областями бионика, пластическая медицина, органика... И потом, вы знаете, накапливается опыт, появляется потребность поделиться. Вот мы с милем пишем уже вторую книгу, и буквально каждый месяц нам приходится вносить в рукопись исправления. Все устаревает на глазах. Сейчас я заканчиваю статью об одном малоизвестном свойстве врожденно–прямого непластичного волоса, и вы знаете, у меня практически нет никаких шансов оказаться первым. Только в нашей стране я знаю трех мастеров, занятых тем же вопросом. Это естественно: врожденнопрямой непластичный волос – это актуальнейшая проблема. Ведь он считается абсолютно неэстетируемым. Впрочем, вас это, конечно, не может интересовать. Вы ведь литератор?

– Да, – сказал я.

– Вы знаете, как–то во время забастовки мне случилось пробежать один роман. Это не ваш?

– Не знаю, – сказал я. – А о чем?

– Н–ну, я не могу сказать вам совершенно точно... Сын поссорился с отцом, и у него был друг, этакий неприятный человек со странной фамилией... Он еще резал лягушек.

– Не могу вспомнить, – соврал я. Бедный Иван сергеевич!

– Я тоже не могу вспомнить. Какой–то вздор. У меня есть сын, но он никогда со мной не ссорится. И животных он никогда не мучает... Разве что в детстве...

Он снова отступил от меня и медленно пошел по кругу, оглядывая. Глаза его горели. Кажется, он был очень доволен.

– А ведь, пожалуй, на этом можно закончить, проговорил он.

Я вылез из кресла. "А ведь неплохо... – Бормотал мастер. – Просто очень неплохо". Я подошел к зеркалу, а он включил прожекторы, которые осветили меня со всех сторон, так что на лице совсем не осталось теней. В первый момент я не заметил в себе ничего особенного. Я как я. Потом я почувствовал, что это не совсем я. Что это гораздо лучше, чем я. Много лучше, чем я. Красивее, чем я. Добрее, чем я. Гораздо значительнее, чем я. И я ощутил стыд, словно умышленно выдавал себя за человека, которому в подметки не гожусь...

– Как вы это сделали? – Спросил я вполголоса.

– Пустяки, – ответил мастер, как–то особенно улыбаясь. – Вы оказались довольно легким клиентом, хотя и основательно запущенным.

Я как нарцис стоял перед зеркалом и не мог отойти. Потом мне вдруг стало жутко. Мастер был волшебником, и волшебником недобрым, хотя сам, наверное, и не подозревал об этом. В зеркале, озаренная прожекторами, необычайно привлекательная и радующая глаз, отражалась ложь. Умная, красивая, значительная пустота. Нет, не пустота, конечно, я не был о себе такого уж низкого мнения, но контраст был слишком велик. Весь мой внутренний мир, все, что я так ценил в себе... Теперь его вообще могло бы не быть. Оно было больше не нужно. Я посмотрел на мастера. Он улыбался.

– У вас много клиентов? – Спросил я.

Он не понял моего вопроса, да я и не хотел, чтобы он меня понял.

– Не беспокойтесь, – ответил он. – Вас я всегда буду работать с удовольствием. Сырье самое высококачественное.

– Спасибо, – сказал я, опуская глаза, чтобы не видеть его улыбки. – Спасибо. До свидания.

– Только не забудьте расплатиться, – благодушно сказал он. – Мы, мастера, очень ценим свою работу.

– Да, конечно, – спохватился я. – Разумеется. Сколько я должен?

Он сказал, сколько я должен.

– Как? – Спросил я, приходя в себя.

Он с удовольствием повторил.

– С ума сойти, – честно сказал я.

– Такова цена красоты, – об"Яснил он. – Вы пришли сюда заурядным туристом, а уходите царем природы. Разве не так?

– Самозванцем я ухожу, – пробормотал я, доставая деньги.

– Ну–ну, не так горько, – вкрадчиво сказал он. – Даже я не знаю этого наверняка. Да и вы не уверены... Еще два доллара, пожалуйста... Благодарю вас. Вот пятьдесят пфеннигов сдачи... Вы ничего не имеете против пфеннигов?

Я ничего не имел против пфеннигов. Мне хотелось скорее уйти.

В вестибюле я некоторое время постоял, приходя в себя, глядя через стеклянную стену на металлического владимира сергеевича. В конце концов все это очень не ново. В конце концов миллионы людей совсем не то, за что они себя выдают. Но этот проклятый парикмахер сделал меня эмпириокритиком. Реальность замаскировалась прекрасными иероглифами. Я больше не верил тому, что вижу в этом городе. Залитая стереопластиком площадь в действительности, наверное, вовсе не была красива. Под изящными очертаниями автомобилей мнились зловещие, уродливые формы. А вон та прекрасная, милая женщина на самом деле, конечно, отвратительная вонючая гиена, похотливая, тупая хрюшка. Я закрыл глаза и помотал головой. Старый дьявол...

Неподалеку остановились два лощеных старца и принялись с жаром спорить о преимуществах фазана тушеного перед фазаном, запеченным с перьями. Они спорили, истекая слюной, чмокая и задыхаясь, щелкая друг у друга под носом костлявыми пальцами. Этим двум никакой мастер помочь не смог бы. Они сами были мастерами и не скрывали этого. Во всяком случае, они вернули меня к материализму. Я подозвал портье и спросил, где ресторан.

– Прямо перед вами, – сказал портье и, улыбнувшись, поглядел на спорящих старцев. – Любая кухня мира.

Вход в ресторан я принял за ворота в ботанический сад. Я вошел в этот сад, раздвигая руками ветви экзотических деревьев, ступая то по мягкой траве, то по неровным плитам ракушечника. В пышной прохладной зелени гомонили невидимые птицы, слышались негромкие разговоры, звяканье ножей, смех. Мимо моего носа пролетела золотистая птичка. Она тащила в клюве маленький бутерброд с икрой.

– Я к вашим услугам, – сказал глубокий бархатный голос.

Из зарослей выступил мне навстречу величественный мужчина со щеками на плечах.

– Обед, – коротко сказал я. Не люблю метрдотелей.

– Обед... – Повторил он значительно. – Обед в обществе? Отдельный столик?

– Отдельный столик. А впрочем...

В руке у него мгновенно появился блокнот.

– Мужчину вашего возраста будут рады видеть у себя за столом миссис и мисс гамилтон–рэй...

– Дальше, – сказал я.

– Отец жофруа...

– Я предпочел бы аборигена, – сказал я.

Он перевернул листок.

– Только что сел за стол доктор философии опир.

– Пожалуй, – сказал я.

Он спрятал блокнотик и повел меня по дорожке, выложенной плитами песчаника. Где–то вокруг разговаривали, ели, шипели сифонами. В листве разноцветными пчелами метались колибри. Метрдотель почтительно осведомился:

– как прикажете вас представить?

– Иван. Турист и литератор.

Доктору опиру было под пятьдесят. Он сразу понравился мне, потому что немедленно, без всяких церемоний прогнал метрдотеля за официантом. Он был румяный, толстый и непрерывно и с удовольствием говорил и двигался.

– Не затрудняйтесь, – сказал он, когда я потянулся за меню. – Все уже известно. Водка, анчоусы под яйцом – у нас их называют пасифунчиками, – картофельный суп "лике"...

– Со сметаной, – вставил я.

– Разумеется!.. Паровая осетрина по–астрахански, ломтик телятины...

– Я хочу фазанов. Запеченных с перьями.

– Не надо: не сезон... Ломтик говядины, угорь в сладком маринаде...

– Кофе, – сказал я.

– Коньяк, – возразил он.

– Кофе с коньяком.

– Хорошо. Коньяк и кофе с коньяком. Какое–нибудь бледное вино к рыбе и хорошую натуральную сигару...

Обедать с доктором философии опиром оказалось очень удобно. Можно было есть, пить и слушать. Или не слушать. Доктор опир не нуждался в собеседнике. Доктор опир нуждался в слушателе. Я в разговоре не участвовал, я даже не подавал реплик, а доктор опир с наслаждением ораторствовал, почти не прерываясь, размахивая вилкой, но тарелки и блюда перед ним пустели тем не менее с прямо–таки таинственной быстротой. В жизни не встречал человека, который бы так искусно говорил с набитым и жующим ртом.

– Наука! Ее величество наука! – Восклицал он. – Она зрела долго и мучительно, но плоды ее оказались изобильны и сладки. Остановись, мгновение, ты прекрасно! Сотни поколений рождались, страдали и умирали, и никогда никому не захотелось произнести этого заклинания. Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох – в эпоху удовлетворения желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслемое. О наука! Ты, наконец, освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все... Пищу превосходную пищу! – Одежду – превосходную, на любой вкус и в любых количествах! – Жилье – превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, – сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали эйнштейна, изменившего нашу вселенную, мы клеймили винера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество на пиршественные столы олимпа... Ага, а вот и картофельный суп, божественный "лике"!.. Нет–нет, делайте, как я... Берите вот эту ложечку... Чуть–чуть уксуса... Поперчите... Другой ложечкой, вот этой, зачерпните сметану и... Нет–нет, постепенно, постепенно разбалтывайте... Это тоже наука, одна из древнейших, более древняя, чем универсальный синтез... Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы "рог амальтеи ак"... Вы ведь не химик? Ах да, вы же литератор! Об этом надо писать, это величайшее таинство сегодняшнего дня, бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок... Как жаль, что мальтус умер. Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие–то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были – потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинины! Они видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из–за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех! И нищие... Может быть, он родился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, маркс и фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить ее – это и означает заложить фундамент золотого века. А фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен золотой век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь, неутоленный голод, не так ли? Но вот является ее величество наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Как вам кажется осетрина? У меня такое впечатление, что соус синтетический. Видете, розоватый оттенок... Да, синтетический. В ресторане мы могли бы рассчитывать на натуральный... Метр! Впрочем, пусть его, не будем капризны... Идите, идите!.. О чем это я? Да! Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети – это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, об"ектом утопии. Беззаботен – значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается опять–таки с помощью науки – источником новых, небывалых радостей и наслаждений... Позвольте, как вас зовут? Иван? А, так вы, надо думать, из россии... Коммунист? Ага... Ну да, у вас там все иначе, я знаю... А вот и кофе! М–м–м... Неплохой кофе! Но где же коньяк? Ага, благодарю вас... Между прочим, я слыхал, что великий дегустатор удалился от дел. На последнем брюсельском конкурсе коньяков произошел грандиознейший скандал, который удалось замять с огромным трудом. Гран–при получает девиз "Белый кентавр". Жюри в восторге. Это нечто небывалое. Это некая феноменальная феерия ощущений. Вскрывают заявочный пакет и – о ужас! Это синтетик! Великий дегустатор побелел как бумага, его стошнило! Мне, между прочим, довелось попробовать этот коньяк, он действительно превосходен, но его гонят из мазутов, и у него даже нет собственного названия. Эй экс восемнадцать дробь нафтан, и он дешевле гидролизного спирта... Возьмите эту сигару. Вздор, что значит не курите? После такого обеда нельзя не курить... Я люблю этот ресторан. Каждый раз, когда я приезжаю читать лекции в здешний университет, я обедаю в "Олимпике". А перед возвращением я неприменно захожу в "Таверну". Да, там нет этой зелени, этих райских птичек, там немного жарко, немного душно и пахнет дымком, но это настоящая, неповторимая кухня. Усердные дегустаторы собираются именно там. Либо там, либо в "Лакомке". Там только едят. Там нельзя болтать, там нельзя смеяться, туда совершенно бессмысленно являться с женщиной, там только едят! Тихо, вдумчиво...

Доктор опир, наконец, замолк, откинулся на спинку кресла и глубоко, с наслаждением затянулся. Я сосал могучую сигару и смотрел на него. Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат.

– Итак, мир прекрасен, доктор? – Сказал я.

– Да, – с чувством сказал доктор опир. – Он, наконец, прекрасен.

– Вы великий оптимист, – сказал я.

– Наше время – это время оптимистов. Пессимист идет в салон хорошего настроения, откачивает желчь из подсознания и становится оптимистом. Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных маньяков и военных. Пессимизм, как умонастроение, искореняется все той же наукой. И не только косвенно, через создание изобилия, но и непосредственно, путем прямого вторжения в темный мир подкорки. Скажем, грезогенераторы – наимоднейшее сейчас развлечение народа. Абсолютно безвредно, необычайно массово и конструктивно просто... Или, скажем, нейростимуляторы...

Я попытался направить его в нужное русло.

– А не кажется ли вам, что как раз в этой области наука – например, та же фармацевтическая химия – иногда перехлестывает?

Доктор опир снисходительно улыбнулся и понюхал свою сигару.

– Наука всегда действовала методом проб и ошибок, веско сказал он. – И я склонен полагать, что так называемые ошибки – это всегда результат преступного использования. Мы еще не вступили в золотой век, мы еще только вступаем в него, и у нас под ногами до сих пор болтаются всевозможные аутло, хулиганы и просто грязные люди... Так появляются разрушающие здоровье наркотики, созданные, как вы сами знаете, с самыми благородными целями, всякие там ароматьеры... Или этот, не к столу будет сказано... – Он вдруг захихикал довольно скабрезно. – Вы догадываетесь, мы с вами взрослые люди... О чем это я?.. Да, так все это не должно нас смущать. Это пройдет, как прошли атомные бомбы.

– Я хотел только подчеркнуть, – заметил я, – что существует еще проблема алкоголизма и проблема наркотиков...

Интерес доктора опира к разговору падал на глазах. Видимо, он вообразил, будто я оспариваю его тезис о том, что наука – благо. Вести спор на таком уровне ему было, естественно, скучно, как если бы он утверждал пользу морских купаний, а я бы его оспаривал на том основании, что в прошлом году чуть не утонул.

– Да, конечно... – Промямлил он, разглядывая часы. Не все же сразу... Согласитесь все–таки, что важна прежде всего основная тенденция... Официант!

Доктор опир вкусно покушал, хорошо поговорил – от лица прогрессивной философии, – чувствовал себя вполне удовлетворенным, и я решил не настаивать, тем более, что на его "Прогрессивную философию" мне было наплевать, а о том, что меня интересовало больше всего, доктор опир в конце концов ничего конкретного сказать, вероятно, и не мог.

Мы расплатились и вышли из ресторана. Я спросил:

– вы не знаете, доктор, кому этот памятник? Вон там, на площади...

Доктор опир рассеянно поглядел.

– В самом деле, памятник, – сказал он. – Я как–то раньше даже не замечал... Вас подвезти куда–нибудь?

– Спасибо, я предпочитаю пройтись.

– В таком случае до свидания. Рад был с вами познакомиться... Конечно, трудно надеяться переубедить вас, – он поморщился, поковырял зубочисткой во рту, – но интересно было бы попробовать... Может быть, вы посетите мою лекцию? Я начинаю завтра в десять.

– Благодарю вас, – сказал я. – Какая тема?

– Философия неооптимизма. Я там обязательно коснусь ряда вопросов, которые мы сегодня с вами так содержательно обсудили.

– Благодарю вас, – сказал я еще раз. – Обязательно.

Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы.

Неооптимизм... Неогедонизм и неокретинизм... Неокапитализм... Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты попал в страну дураков. Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению? Любопытно, кто ему присвоил звание доктора? Не один же он такой! Была, наверное, целая куча докторов, которая торжественно присвоила такое звание неооптимисту опиру. Впрочем, это бывает не только среди философов...

Я увидел, как в холл вошел Римайер, и сразу забыл про доктора опира. Костюм на Римайере висел мешком, Римайер сутулился, лицо Римайера совсем обвисло. И по–моему, он пошатывался на ходу. Он подошел к лифту, и тут я догнал его и взял за рукав.

Римайер сильно вздрогнул и обернулся.

– Какого черта? – Сказал он. Он был явно не рад мне. Зачем вы еще здесь?

– Я ждал вас.

– Я же вам сказал, приходите завтра в двенадцать.

– Какая разница? – Сказал я. – Зачем терять время.

Он, тяжело дыша, смотрел мне в лицо.

– Меня ждут, понимаете? В номере сидит человек и ждет меня. Вы можете это понять?

– Не кричите так, – сказал я. – На нас глядят.

Римайер повел по сторонам заплывшими глазами.

– Пойдемте в лифт, – сказал он.

Мы вошли в лифт, и Римайер нажал кнопку пятнадцатого этажа.

– Говорите быстро, что вам надо.

Вопрос был на редкость глуп. Я даже растерялся.

– Вы что, не знаете, зачем я здесь?

Он потер лоб, затем проговорил:

– черт, все так перепуталось... Слушайте, я забыл, как вас зовут.

– Жилин.

– Слушайте, жилин, ничего нового у меня для вас нет. Мне некогда было этим заниматься. Это все бред, понимаете? Выдумки марии. Они там сидят, пишут бумажки и выдумывают. Их всех надо гнать к чертовой матери.

Мы доехали до пятнадцатого этажа, и он нажал кнопку первого.

– Черт, – сказал он. – Еще пять минут, и он уйдет... В общем я уверен в одном. Ничего этого нет. Во всяком случае, здесь, в городе. – Он вдруг украдкой глянул на меня и отвел глаза. – Вот что я вам скажу. Загляните к рыбарям. Просто для очистки совести.

– К рыбарям? К каким рыбарям?

– Сами узнаете, – нетерпеливо сказал он. – Да не капризничайте там, делайте все, что велят. – Потом он, словно оправдываясь, добавил: – я не хочу предвзятости, понимаете?

Лифт остановился на первом этаже, и он нажал кнопку девятого.

– Все, – сказал он. – А потом мы увидимся и поговорим подробнее. Скажем, завтра в двенадцать.

– Ладно, – медленно сказал я. Он явно не хотел говорить со мной. Может быть, он не доверял мне. Что ж, это бывает. – Между прочим, – сказал я, – к вам заходил некий оскар.

Мне показалось, что он вздрогнул.

– Он вас видел?

– Естественно. Он просил передать, что будет звонить сегодня вечером.

– Плохо, черт, плохо... – Пробормотал Римайер. Слушайте... Черт, как ваша фамилия?

– Жилин.

Лифт остановился.

– Слушайте, жилин, это очень плохо: что он вас видел... Впрочем, плевать... Я пошел. – Он открыл дверцу кабины. – Завтра мы поговорим с вами как следует, ладно? Завтра... А вы загляните к рыбарям, договорились?

Он изо всех сил захлопнул за собой дверцу.

– Где мне их искать? – Спросил я.

Я постоял немного, глядя ему вслед. Он бежал неверными шагами, удаляясь по коридору.

Глава пятая.

Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Римайер, наверное, спился. Это случается довольно часто: человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой... Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем–то встречается, разговаривает путанно и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице, или в сумашедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится – странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом... И остается только сказать: "Врачу, исцелися сам..."

Хорошо бы все–таки отыскать пека. Пек – жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на "Ты" с дежурным поваром базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром следопытов и главным инженером, не поделившими какой–то трозер, техники уже организуют в его честь вечеринку, а зам. Директора советуется с ним, отведя его в угол... Бесценный пек! А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни.

Я нашел телефонную будку, позвонил в бюро обслужИвания и попросил найти адрес и телефон пека зеная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто–то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово "Слег". Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной, теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что пек зенай, по данным на начало года, обитает по адресу: улица свободы, 31, телефон 11–331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил, что я не туда попал. Номер телефона правильный и адрес тоже, но пек зенай здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы, в тень.

Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали:

– давайте заходите!

– Не хочется что–то, – сказал я.

– Что, не соглашается, стерва? – Сказал бармен сочувственно. – Заходите, чего там, побеседуем... Скучно.

Я остановился.

– Завтра утром, – сказал я, – в десять часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии опир из столицы.

Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться.

– Надо же! – Сказал он, когда я кончил. – До чего докатились, а! Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Мы им еще покажем лекции!

– Давно пора, – сказал я.

– Я их к себе не пускаю, – продолжал бармен, все более оживляясь. – У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу: интель. Ребята, говорю, интель идет! А ребята у нас как на подбор, сам дод каждый вечер после тренировок у меня сидит. Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор, пусть стучаться. Правильно я говорю?

– Пусть, – сказал я. Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро.

– Что – пусть?

– Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь.

Бармен настороженно посмотрел на меня.

– А ну–ка, проходите, – сказал вдруг он.

– А может, значит, по стопке? – Предложил я.

– Проходите, проходите, – повторил он. – Вас здесь не обслужат.

Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом что–то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь.

– Я не интель, – сказал я. – Я бедный турист. Богатый!

Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что–то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось "Улыбка". Я улыбнулся и пошел дальше.

За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик–фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. "Фонит", – пищала одна. Другая прикладывая блузку так и этак, отвечала: "Чушики, чушики, и совсем не фонит". – "Возле шеи фонит". – "Чушики!" – "И крестик не переливается..." Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на перебрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по шестнадцати, глаза у них были как у котят – синенькие и пустенькие.

– Чушики, – твердо сказал я. – Не фонит и переливается.

– А около шеи? – Спросила та, что примеряла.

– Около шеи просто шедевр.

– Чушики, – нерешительно возразила вторая девочка.

– Ну, давай другую посмотрим, – миролюбиво предложила первая. – Вот эту.

– Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой.

Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была "Перемена мечты" с предисловием сарагона. Был трехтомник вальтера минца с перепиской. Был почти весь фолкнер, "Новая политика" вебера, "Полюса благолепия" игнатовой, "Неизданный сянь ши–куй", "История фашизма" в издании "Память человечества". Были свежие журналы и альманахи, были карманные лувр, эрмитаж, ватикан. Все было. "И тоже фонит..." – "Зато растопырочка!" – "Чушики..." Я схватил минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного минца. Там были даже письма из эмиграции...

– Сколько с меня? – Воззвал я.

Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо.

– Что? – Спросил он сипловато.

– Кто здесь хозяин? – Осведомился я.

Он встал и подошел ко мне.

– Что вам надо?

– Я хочу этого минца. Сколько с меня?

Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки.

– Вы иностранец?

– Да, я турист.

– Это самый полный минц.

– Да я же вижу, – сказал я. – Я совсем ошалел, когда увидел.

– Я тоже, – сказал он. – Когда увидел, что вам нужно.

– Он же турист, – пискнула одна из девочек. – Он не понимает.

– Да это все без денег, – сказал шофер. – Личный фонд. В обеспечение личных потребностей.

Я оглянулся на полку с книгами.

– "Перемену мечты" не видели? – Спросил шофер.

– Да, спасибо, у меня есть.

– О строгове я не спрашиваю. А "История фашизма"?

– Превосходное издание.

Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились.

– Бр–рысь, сопливые! – Равкнул он.

Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас.

– Р–р–растопырочки! – Сказал шофер. Тонкие губы его подергивались. – Надо бросать всю эту затею. Где вы живете?

– На второй пригородной.

– А, в самом болоте... Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный щедрин, его я даже не выставляю, вся библиотека классики, вся "Золотая библиотека", полные "Сокровища философской мысли"...

– Включая доктора опира?

– Сучий потрох, – сказал шофер. – Сластолюбивый подонок. Амеба. А слия вы знаете?

– Мало, – сказал я. – Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор опир.

– Доктор опир вонючка, – сказал шофер. – А слий – это настоящий человек. Конечно, индивидуализм. Но он по крайней мере говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит... Я вам достану слия... Послушайте, а вот это вы видели? А это?

Он зарывался в книги по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление.

– А это? – Говорил он. – А вот такого сервантеса, а?

К нам подошла молодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала:

– опять нет датских пикулей?.. Я же вас просила.

– Идите к черту, – сказал шофер рассеянно.

Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью.

– Как вы посмели? – Произнесла она шипящим голосом.

Шофер, сбычившись, посмотрел на нее.

– Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!

– Вы не смеете!.. – Сказала женщина. – Ваш номер?

– Мой номер девяносто три, – сказал шофер. – Девяносто три, ясно? И я на вас всех плевал! Вам ясно? У вас есть еще вопросы?

– Какое хулиганство! – Сказала женщина с достоинством. Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала "Космический человек". – Я вас запомню, девяносто третий номер! Это вам не прежние времена, – она завернула банки в обложку. – Мы еще с вами увидимся в муниципалитете...

Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мы7а под моими пальцами обмякла.

– Наглец, – сказала дама величественно и удалилась.

Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера.

– Надо стрелять, – сказал он вдруг. – Давить их надо, а не книжечки им развозить. – Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. – Так отвезти вам книги?

– Да нет, – сказал я. – Куда я все это дену?

– Тогда пошел вон, – сказал шофер. – Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштаники.

Он влез в кабину. Что–то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие–то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места.

Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице с томиками минца в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы "Истории фашизма" у меня под ногами. Потом из–за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глянцевитой красивой этикеткой.

Глава шестая.

На пути домой меня застигла смена. Улицы наполнились автомобилями. Над перекрестками повисли вертолеты–регулировщики, а потные полицейские, ревя мегафонами, разгоняли поминутно возникающие пробки. Автомобили двигались медленно. Водители высовывали головы, переговаривались, острили, орали, прикуривали друг у друга и отчаянно сигналили. Лязгали бамперы. Все были веселы, все были добры, все так и сияли дикарской восторженностью. Казалось, с души города только что свалился какой–то тяжелый груз, казалось, все были полны каким–то завидным предвкушением. На меня и на других пешеходов показывали пальцами. Несколько раз мне поддавали бампером на перекрестках – девушки, просто так, в шутку. Одна девушка долго ехала рядом со мной по тротуару, и мы познакомились. Потом по резервной полосе прошла демонстрация людей с постными лицами. Они несли плакаты. Плакаты взывали вливаться в самодеятельный городской ансамбль "Песни отечества", вступать в муниципальные кружки кулинарного искусства, записываться на краткосрочные курсы материнства и младенчества. Людям с плакатами поддавали бамперами с особенным удовольствием. В них кидали окурки, огрызки яблок и комки жеваной бумаги. Им кричали: "Сейчас запишусь, только галоши надену!", "А я стерильный!", "Дяденька, научи материнству!" А они продолжали медленно двигаться между двух сплошных потоков автомобилей, невозмутимо, жертвенно, глядя перед собой с печальной надменностью верблюдов.

Недалеко от дома на меня напала толпа девиц, и, когда я выбрался на вторую пригородную, в петлице у меня была пышная белая астра, на щеках сохли поцелуи, и мне казалось, что я познакомился с половиной девушек города. Вот это парикмахер! Вот это мастер!

В моем кабинете в кресле сидела Вузи в пламенно оранжевой кофточке. Ее длинные ноги в остроносых туфлях покоились на столе, в длинных пальцах она держала тонкую длинную сигарету и, закинув голову, пускала через нос к потолку длинные плотные струи дыма.

– Наконец–то! – Вскричала она, увидев меня. – Где вы пропадаете, в самом деле? Ведь я вас жду, вы что, не видите?

– Меня задержали, – сказал я, пытаясь вспомнить, точно ли я назначил ей свидание.

– Сотрите помаду, – потребовала она. – У вас дурацкий вид. А это еще что? Книги? Зачем вам?

– Как зачем?

– С вами просто беда. Опаздывает, таскается с какими–то книгами... Или это порники?

– Это минц, – сказал я.

– Дайте сюда. – Она вскочила и выхватила книги у меня из рук. – Боже мой, какая глупость! Все три одинаковые... А это что такое? "История фашизма"... Вы что, фашист?

– Что вы, Вузи! – Сказал я.

– Тогда зачем вам это? Вы что, будете их читать?

– Перечитывать.

– Ничего не понимаю, – сказала она обиженно. – Вы мне так понравились сначала... Мама говорит, что вы литератор, я уже перед всеми расхвасталась, как дура, а вы, оказывается, чуть ли не интель!

– Как можно, Вузи! – Сказал я укоризненно. Я уже понял, что нельзя допускать, чтобы тебя принимали за интеля. Эти книженции мне понадобились просто как литератору, и все.

– Книженции! – Она расхохоталась. – Книженции... Смотрите, как я умею! – Она закинула голову и выпустила из ноздрей две толстые струи дыма. – Со второго раза получилось. Здорово верно?

– Редкостные способности, – заметил я.

– А вы не смейтесь, попробуйте сами... Меня сегодня научила одна дама в салоне. Всю меня обслюнявила, старая корова... Будете пробовать?

– А зачем это она вас слюнявила?

– Кто?

– Корова.

– Ненормальная. А может, грустица... Как вас зовут, я забыла.

– Иван.

– Потешное имя. Вы мне потом еще напомните... Вы не тунгус?

– По–моему, нет.

– Ну–у–у... А я всем сказала, что вы тунгус. Жалко... Слушайте, а почему бы нам не выпить?

– Давайте.

– Мне сегодня нужно крепко выпить, чтобы забыть эту слюнявую корову.

Она выскочила в гостинную и вернулась с подносом. Мы выпили немного бренди, посмотрели друг на друга, не нашли, что сказать, и выпили еще немного бренди. Я чувствовал себя как–то неловко. Не знаю, в чем здесь было дело, но она мне нравилась. Что–то чудилось мне в ней, я сам не понимал, что именно; что–то отличало ее от стандартизованных, развинченных читательниц журналов мод. И по–моему, ей во мне тоже что–то чудилось.

– Прекрасная погода сегодня, – сказала она, отведя глаза.

– Жарко немного, – заметил я.

Она отхлебнула бренди, я тоже. Молчание затягивалось.

– Что вы больше всего любите делать? – Спросила она.

– Когда как, а вы?

– Я тоже когда как. Вообще я люблю, чтобы было весело и ни о чем не надо думать.

– Я тоже, – сказал я. – По крайней мере сейчас.

Она как–то подбодрилась. А я вдруг понял, в чем дело: за весь день я сегодня не встретил ни одного по–настоящему приятного человека, и мне это просто надоело. Ничего в ней не было.

– Пойдем куда–нибудь, – сказала она.

– Можно, – сказал я. Мне никуда не хотелось идти, хотелось немного посидеть в прохладе.

– Я вижу, вам не очень–то хочется, – сказала она.

– Откровенно говоря, я предпочел бы немножко посидеть.

– А тогда сделайте, чтобы было весело.

Я подумал и рассказал про коммивояжера на верхней полке. Ей понравилось, хотя соли она, по–моему, не уловила. Я ввел поправку и рассказал про президента и старую деву. Она долго хохотала, дрыгая чудными длинными ногами. Тогда я хватил бренди и рассказал про вдову, у которой на стенке росли грибы. Она сползла на пол и чуть не опрокинула поднос. Я поднял ее под мышки, водворил в кресло и выдал историю про пьяного межпланетника и девочку из колледжа. Тут прибежала тетя Вайна и испуганно спросила, что делается с Вузи, не щекочу ли я ее. Я налил тете Вайне бренди и, обращаясь персонально к ней, рассказал про ирландца, который пожелал быть садовником. Вузи совсем зашлась, а тетя Вайна, грустно улыбнувшись, поведала, что генерал–полковник туур любил рассказывать эту историю, когда был в хорошем настроении, только там фигурировал, кажется, не ирландец, а негр, и претендовал он на должность не садовника, а настройщика пианино. "И вы знаете, Иван, у нас эта история кончалась как–то не так", – добавила она, подумав. В этот момент я заметил, что в дверях стоит лэн и смотрит на нас. Я помахал и улыбнулся ему. Он словно не заметил этого, и тогда я подмигнул ему и поманил его пальцем.

– С кем это вы там перемигиваетесь? – Спросила Вузи ломанным от смеха голосом.

– Это лэн, – сказал я. Все–таки смотреть на нее было одно удовольствие, люблю смотреть, когда люди смеются, особенно такие, как Вузи, красивые и почти дети.

– Где лэн? – Удивилась она.

Лэна в дверях не было.

– Лэна нет, – сказала тетя Вайна, которая одобрительно нюхала свою рюмочку с бренди и ничего не заметила. Мальчик сегодня пошел к зирокам на день рождения. Если бы вы знали, Иван...

– А почему он говорит – лэн? – Спросила Вузи, снова оглядываясь на дверь.

– Лэн был здесь, – об"Яснил я. – Я помахал ему рукой, а он убежал. Вы знаете, он мне показался немножко диковатым.

– Ах, он у нас очень нервный ребенок, – сказала тетя Вайна. – Он родился в тяжелое время, а в этих нынешних школах совершенно не умеют подойти к нервным детям. Сегодня я отпустила его в гости...

– Мы сейчас тоже пойдем, – сказала Вузи. – Вы меня проводите. Я только подмалююсь, а то из–за вас у меня все размазалось. А вы пока наденьте что–нибудь приличное.

Тетя Вайна была не прочь остаться, рассказать мне еще что–нибудь и, может быть, даже показать фотоальбом лэна, но Вузи утащила ее с собой, и я слышал, как она спрашивает мать за дверью: "как его зовут? Все не могу запомнить... Веселый дядька, правда?" – "Вузи!.." – Укоризненно внушала тетя Вайна.

Я выложил на постель весь свой гардероб и попытался сообразить, как Вузи представляет себе прилично одетого человека. До сих пор мне казалось, что я одет вполне прилично. Вузины каблучки уже выбивали в кабинете нетерпеливую чечетку. Ничего не придумав, я позвал ее.

– Это все, что у вас есть? – Спросила она, сморщив нос.

– Неужели не годится?

– Да ладно, сойдет... Снимайте пиджак и надевайте вот эту гавайку... Или лучше вот эту. Ну и одеваются у вас в тунгусии... Давайте побыстрее. Нет–нет, рубашку тоже снимайте.

– Что, на голое тело?

– Знаете, вы все–таки тунгус. Вы куда собираетесь? На полюс? На марс? Что это у вас под лопаткой?

– Пчелка укусила, – сказал я, торопливо натягивая гавайку. – Пошли.

На улице было уже темно. Люминесцентные лампы мертво светили сквозь черную листву.

– Куда мы направляемся? – Спросил я.

– В центр, конечно... Не хватайте меня под руку, жарко... Драться вы хоть умеете?

– Умею.

– Это хорошо, я люблю смотреть.

– Смотреть я тоже люблю...

Народу на улицах было гораздо больше, чем днем. Под деревьями, среди кустов, в воротах группами по нескольку человек торчали какие–то неприкаенные люди. Они остервенело курили трещащие синтетические сигареты, гоготали, небрежно и часто отплевывались и громко разговаривали грубыми голосами. Над каждой группой висел гомон радиоприемников. Под одним фонарем стучало банджо, и двое подростков, корчась и изгибаясь, отчаянно вскрикивая, плясали модный фляг, танец большой красоты, когда умеешь его танцевать. Подростки умели. Вокруг стояла компания, тоже отчаянно вскрикивала и ритмично била в ладоши.

– Может быть, станцуем? – Предложил я Вузи.

– Нет уж... – Прошипела она, схватила меня за руку и пошла быстрее.

– А почему нет? Вы не умеете фляг?

– Я лучше с крокодилами буду плясать, чем с этими...

– Напрасно, – сказал я. – Ребята как ребята.

– Да, каждый в отдельности, – сказала Вузи с нервным смешком. – И днем.

Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочно меланхоличные. Жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум–трем популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза, и мне казалось, что каждый город и весь мир заполнены ими, – может быть, потому, что каждый город и весь мир принадлежали им по праву. И они были полны для меня какой–то темной тайны. Ведь я сам простаивал когда–то вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы, и потом много–много раз видел такие же компании во всех городах земного шара, где умелых людей не хватало. Но я никогда не мог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много, от спортивных залов, которых предостаточно в этом городе, от обыкновенных телевизоров, наконец, и гонит на вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе – стоять, сплевывать (подальше), гоготать (попротивнее) и ничего не делать. наверное в пятнадцать лет из всех благ мира истинно кажется только одно: ощущение собственной значимости и способность вызывать всеобщее восхищение или по крайней мере привлекать внимание. Все остальное представляется невыносимо скучным и занудным и в том числе, а может и в особенности те пути достижения желаемого, которые предлагает усталый и раздраженный мир взрослых...

– А вот здесь живет старый руэн, – сказала Вузи. – У него каждый вечер новая. Устроился так, старый хрыч, что они к нему сами ходят. Во время заварушки ему оторвало ногу... Видите, у него света нет, радиолу слушают. А ведь страшный, как смертный грех!

– Хорошо тому живется, у кого одна нога... – Рассеянно сказал я.

Она, конечно, захихикала и продолжала:

– а вот тут живет сус. Он рыбарь. Вот это парень!

– Рыбарь? – Сказал я. – И чем же занимается, этот сус–рыбарь?

– Рыбачит. Что делают рыбари? Рыбачат! Или вы спрашиваете, где он служит?

– Нет, я спрашиваю, где он рыбачит.

– В метро... – Она вдруг запнулась. – Слушайте, а вы сами не рыбарь?

– Я? А что, заметно?

– Что–то в вас есть, я сразу заметила. Знаем мы этих пчелок, которые кусают в спину.

– Неужели?

Она взяла меня под руку.

– Расскажите что–нибудь, – сказала она, подлащиваясь. – У меня никогда не было знакомых рыбарей. Вы ведь мне что–нибудь расскажете?

– А как же... Рассказать про летчика и корову?

– Нет, правда...

– Какой жаркий вечер! – Сказал я. – Хорошо, что вы сняли с меня пиджак.

– Все равно ведь все знают. И сус рассказывает, и другие...

– Вот как? – Спросил я с интересом. – Что же рассказывает сус?

Она сразу отпустила мою руку.

– Я сама не слыхала... Девчонки рассказывали.

– И что же рассказывали девчонки?

– Ну... Мало ли что... Может быть они, врут все. Может, сус вовсе тут ни при чем...

– Гм... – Сказал я.

– Ты только не подумай про суса, он хороший парень и очень молчаливый.

– Чего ради я стану думать про суса? – Сказал я, чтобы ее успокоить. – Я его и в глаза не видел.

Она опять взяла меня под руку и с энтузиазмом сказала, что сейчас мы выпьем.

– Сейчас самое время нам с тобой выпить, – сказала она.

Она уже прочно была со мной на "ты". Мы свернули за угол и вышли на магистраль. Здесь было светлее, чем днем. Сияли лампы, светились стены, разноцветными огнями полыхали витрины. Это был, вероятно, один из кругов амадого рая. Но я представлял себе все это как–то иначе. Я ожидал ревущие оркестры, кривляющиеся пары, полуголых и голых людей. А здесь по–моему, все были пьяны, но все были отлично и разнообразно одеты, и все были веселы. И почти все курили. Ветра не было ни малейшего, и волны сизого табачного дыма качались вокруг ламп и фонарей, как в накуренной комнате. Вузи затащила меня в какое–то заведение, высмотрела знакомых и удрала, пообещав найти меня позже. Народ в заведении стоял стеной. Меня прижали к стойке, и я опомниться не успел, как проглотил рюмку горькой. Пожилой коричневый дядя с желтыми белками гудел мне в лицо:

–... Куэн повредил ногу, так? Брош пошел в артики и теперь никуда не годен. Это уже трое, так? А справа у них нет никого, финни у них справа, а это еще хуже, чем никого. Официант он, вот и все. Так?

– Что вы пьете? – Спросил я.

– Я вообще не пью, – с достоинством ответил коричневый, дыша сивухой. – У меня желтуха. Слыхали про такое?

Позади меня кто–то сверзился с табурета. Шум то стихал, то усиливался. Коричневый, надсаживаясь, выкрикивал историю про какого–то типа, который на работе повредил шланг и чуть не умер от свежего воздуха. Понять что–нибудь было трудно, потому что разнообразные истории выкрикивались со всех сторон.

–... Он, дурак, успокоился и ушел, а она вызвала грузотакси, погрузила его барахло и велела свезти за город и там все вывалить...

–... А я твой телевизор к себе и в сортир не повешу. Лучше "омеги" Все равно ничего не придумать, у меня есть сосед, инженер, он так прямо и говорит. Лучше, говорит, "омеги" Ничего не придумать...

–... Так у них свадебное путешествие и закончилось. Вернулись они домой, отец его в гараж заманил – а отец у него боксер – и там его исхлестал, ну, до потери сознания, врача потом вызывали...

–... Ну ладно, взяли мы на троих... А правило у них, знаешь, какое: бери все, что захочешь, но сглотай все, что берешь. А он уже завелся. Берем, говорит, еще... А они уже ходят рядом и смотрят... Ну, думаю, хватит, пора рвать когти...

–... Деточка, да я бы с твоим бюстом горя бы не знал, такой бюст раз на тысячу встречется, ты не думай, что я тебе комплименты говорю, я этого не люблю...

На опустевший табурет рядом со мной вскарабкалась поджарая девчонка с челкой до кончика носа и принялась стучать кулачками по стойке, крича: "бармен! Бармен! Пить!" Гомон опять немного стих, и я услышал, как позади двое переговариваются трагическим полушепотом: "а где достал?" "У бубы. Знаешь бубу? Инженер..." – "И что, настоящий?" "Жуть, сдохнуть можно!" – "Там еще таблетки какие–то нужны..." – "Тихо, ты..." – "Да ладно, кто нас слушает... Есть у тебя?" – "Буба дал один пакетик, он говорит, это в любой аптеке навалом... Во, смотри..." Пауза "де... Девон... Что это такое?" – "Лекарство какое–то, почем я знаю..." Я обернулся. Один был краснощекий, в расстегнутой до пупа рубашке, с волосатой грудью. А другой был какой–то изможденный, с пористым носом. Оба смотрели на меня.

– Выпьем? – Предложил я.

– Алкоголик, – сказал пористый нос.

– Не надо, не надо, пэт, – сказал краснощекий. – Не заводись, пожалуйста.

– Если нужен "девон", Могу ссудить, – громко сказал я.

Они отшатнулись. Пористый нос принялся осторожно озираться. Краем глаза я заметил, что несколько лиц повернулись в нашу сторону и выжидательно застыли.

– Пошли, пэт, – сказал вполголоса краснощекий. Пошли, ну его совсем.

Кто–то положил руку мне на плечо. Я оглянулся и увидел загорелого красивого мужчину с мощными мы7ами.

– Да? – Сказал я.

– Приятель, – сказал он доброжелательно, – брось ты это дело. Брось, пока не поздно. Ты "носорог"?

– Я гиппопотам, – сострил я.

– Не нужно, я серьезно. Тебя, может, побили?

– До синяков.

– Ладно, не расстраивайся. Сегодня тебя, завтра ты... А "девон" И все прочее – это дрянь, ты мне уж поверь. Много на свете дряни, а это уж всем дряням дрянь, понимаешь?

Девочка с челкой посоветовала мне:

– тресни ему по зубам, чего он суется... Шпик паршивый...

– Налакалась, дура, – спокойно сказал загорелый и повернулся к нам спиной. Спина у него была огромная, обтянутая полупрозрачной рубашкой и вся в круглых буграх мускулов.

– Не твое дело, – сказала девочка ему в спину. Затем она сказала мне: – слушай, друг, позови бармена, я никак не докричусь.

Я отдал ей свой стакан и спросил:

– чем бы занятся?

– А, сейчас все, пойдем, – ответила девочка. Проглотив спиртное, она сразу осоловела. – А заняться – это как повезет. Не повезет, так никуда не пробьешься. Или деньги нужны, если к меценатам. Ты приезжий, наверное? У нас эту горькую никто не пьет. Как там у вас, рассказал бы... Не пойду я сегодня никуда, если в салон. Настроение паршивое, ничего не помогает... Мать говорит: заведи ребенка. А ведь тоже скука, на что он мне сдался...

Она закрыла глаза и опустила подбородок на сплетенные пальцы. Вид у нее был какой–то наглый и обиженный одновременно. Я попытался ее расшевелить, но она перестала обращать на меня внимание и вдруг снова принялась орать: "бармен! Пить! Ба–армен!" Я поискал глазами Вузи. Ее нигде не было видно. Кафе стало пустеть. Все куда–то заспешили. Я тоже слез с табурета и вышел. По улицам потоком шли люди. Все они шли в одном направлении, и минут через пять меня вынесло на площадь. Площадь была большая и плохо освещенная – широкое сумрачное пространство, окаймленное световым кольцом фонарей и витрин. И она была полна людьми.

Люди стояли вплотную друг к другу, мужчины и женщины, подростки, парни и девушки, переминались с ноги на ногу и чего–то ждали. Разговоров почти не было слышно. То там, то здесь разгорались огоньки сигарет, озаряя сжатые губы и втянутые щеки. Потом в наступившей тишине начали бить часы, и над площадью ярко вспыхнули гигантские плафоны. Их было три: красный, синий и зеленый, неправильной формы, в виде закругленных треугольников. Толпа колыхнулась и замерла. Вокруг меня тихонько задвигались, гася сигареты. Плафоны на мгновение погасли, а затем начали вспыхивать и гаснуть поочередно: красный – синий – зеленый, красный – синий зеленый... Я ощутил на лице волну горячего воздуха, вдруг закружилась голова. Вокруг шевелились. Я поднялся на цыпочки. В центре площади люди стояли неподвижно; было такое впечатление, словно они оцепенели и не падают только потому, что сжаты толпой. Красный – синий – зеленый, красный – синий – зеленый... Одеревеневшие запрокинутые лица, черные разинутые рты, неподвижные вытаращенные глаза. Они там даже не мигали под плафонами... Стало совсем уже тихо, и я вздрогнул, когда пронзительный женский голос неподалеку крикнул: "дрожка!" И сейчас же десятки голосов откликнулись: "дрожка! Дрожка!" Люди на тротуарах по периметру площади начали размеренно хлопать в ладоши в такт вспышкам плафонов и скандировать ровными голосами: "дрож–ка! Дрожка! Дрож–ка!" Кто–то уперся мне в спину острым локтем. На меня навалились, толкая вперед, к центру площади, под плафоны. Я сделал шаг, другой, а затем двинулся через толпу, расталкивая оцепеневших людей. Двое подростков, застывших, как сосульки, вдруг бешенно забились, судорожно хватая друг друга, царапаясь и колотя изо всех сил, но их неподвижные лица по–прежнему были запрокинуты к вспыхивающему небу... Красный – синий зеленый, красный – синий – зеленый. И так же неожиданно подростки вдруг замерли. И тут, наконец, я понял, что все это необычайно весело. Мы все хохотали. Стало просторно, загремела музыка. Я подхватил славную девочку, и мы пустились в пляс, как раньше, как надо, как давным–давно, как всегда, беззаботно, чтобы кружилась голова, чтобы все нами любовались, и я не отпускал ее руки, и совсем ни о чем не надо было говорить, и она согласилась, что шофер – очень странный человек. Терпеть не могу алкоголиков, сказал Римайер, этот пористый нос – самый настоящий алкоголик, а как же "девон", Сказал я, как же без "девона", Когда у нас замечательный зоопарк, быки любят лежать в трясине, а из трясины все время летит мошкара, рим, сказал я, какие–то дураки сказали, что тебе пятьдесят лет, вот еще вздор какой, больше двадцати пяти я тебе не дам, а это Вузи, я ей про тебя рассказывал, так я же вам мешаю, сказал Римайер, нам никто не может помешать, сказала Вузи, а это сус, самый лучший рыбарь, он схватил ляпник и попал скату прямо в глаз, и хугер поскользнулся и упал в воду, не хватает, чтобы ты потонул, сказал хугер, гляди, у тебя уже плавки растворились, какой вы смешной, сказал лэн, это же есть такая игра в гангстера и мальчика, помните, вы играли с марией... Ах, как мне хорошо, почему мне еще никогда в жизни не было так хорошо, так обидно, ведь могло быть так хорошо каждый день, Вузи, сказал я, какие мы все молодцы, Вузи, у людей никогда не было такой важной задачи, Вузи, и мы ее решили, была лишь одна проблема, одна–единственная в мире, вернуть людям духовное содержание, духовные заботы, нет, сус, сказала Вузи, я тебя очень люблю, оскар, ты такой славный, но прости меня, пожалуйста, я хочу, чтобы это был Иван, я обнял ее и догадался, что ее можно поцеловать, и я сказал, я люблю тебя...

Бах! Бах! Бах! Что–то стало с треском лопаться в ночном небе, и на нас посыпались острые звонкие осколки, и сразу сделалось холодно и неудобно. Это были пулеметные очереди. Загремели пулеметные очереди. "Ложись, Вузи!" Заорал я, хотя еще ничего не сообразил, и бросил ее на землю, и упал на нее, чтобы прикрыть от пуль, и тут меня стали бить по лицу...

Тра–та–та–та–та... Вокруг меня частоколом торчали одеревеневшие люди. Некоторые стали приходить в себя и обалдело шевелили белками. Я полулежал на груди твердого, как скамейка, человека, и прямо перед моими глазами была его широко раскрытая пасть с блестящей слюной на подбородке... Синий – зеленый, синий – зеленый, синий зеленый... Чегото не хватало. Раздавались пронзительные вопли, ругань, кто–то бился и визжал в истерике. Над площадью нарастал густой механический рев. Я с трудом поднял голову. Плафоны были прямо надо мной, синий и зеленый равномерно вспыхивали, а красный погас, и с него сыпался стеклянный мусор. Тра–та–та–та–та!.. – И сейчас же лопнул и погас зеленый плафон. А в свете синего неторопливо проплыли распахнутые крылья, с которых срывались красноватые молнии выстрелов.

Я опять попытался броситься на землю, но это было невозможно, все они вокруг стояли, как столбы. Чего–то гадко треснуло совсем недалеко от меня, взвился султан желто–зеленого дыма, и пахнуло отвратительной вонью. Пок! Пок! Еще два султана повисли над площадью. Толпа взвыла и заворочалась. Желтый дым был едкий, как горчица, у меня потекли слезы и слюни, я заплакал и закашлял, и вокруг меня все тоже заплакали и закашляли и хрипло завопили: "сволочи! Хулиганы! Бейте интелей!.." Снова послышался нарастающий рев мотора. Самолет возвращался. "Да ложитесь же, идиоты!" – Закричал я. Все вокруг меня повалились друг на друга. Трата–та–та–та–та!.. На этот раз пулеметчик промахнулся, и очередь пришлась по дому напротив, зато газовые бомбы снова легли точно в цель. Огни вокруг площади погасли, погас синий плафон, и в кромешной тьме началась свалка.

Глава седьмая.

Не знаю, как я добрался до этого фонтана. Наверное, у меня здоровые инстинкты, а обыкновенная холодная вода – это было как раз то, что нужно. Я полез в воду, не раздеваясь, и лег. Мне сразу стало легче. Я лежал на спине, на лицо мне сыпались брызги, и это было необычайно приятно. Здесь было совсем темно, сквозь ветки и воду просвечивали неяркие звезды, и было совсем тихо. Несколько минут я почему–то следил за звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляционный спутник "европа", И подумал, как это далеко отсюда, и как это обидно и бессмысленно, если вспомнить безобразную кашу на площади, отвратительную ругань и визг, мокротное харканье газовых бомб и тухлую вонь, выворачивающую наизнанку желудок и легкие. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, вспомнил я, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок... Бесценный пек обожал цитировать старца зосиму, когда кружил с потиранием рук вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора... Тут кто–то шумно рухнул в воду в шагах десяти от меня.

Сначала он хрипло кашлял, отхаркивался и сморкался, так что я поспешил выбраться из воды, потом принялся плескаться, ненадолго совсем затих и вдруг разразился бранью.

– Гниды бесстыжие, – рычал он, – пр–р–роститутки... Собаки свинячьи... По живым людям! Гиены вонючие, дряни поганые... Слегачи образованные, гады... – Он снова яростно отхаркивался. – Свербит у них, что люди развлекаются... На щеку наступили, сволочи... – Он болезненно охнул в нос. Провались они с этой дрожкой, чтобы я туда еще раз пошел...

Он опять застонал и поднялся. Было слышно, как с него льет. Я смутно видел во мраке его шатающуюся фигуру. Он тоже меня заметил.

– Эй, друг, закурить нет? – Окликнул он.

– Было, – сказал я.

– Гады, – сказал, – он. – Я тоже не догадался вынуть. Так во всем и плюхнулся. – Он прошлепал ко мне и присел рядом. – Болван какой–то на щеку наступил, – сообщил он.

– По мне тоже прошлись, – сочувственно сказал я. Ошалели все.

– Нет, ты мне скажи, откуда они слезогонку берут? Сказал он. – И пулеметы.

– И самолеты, – добавил я.

– Самолет что! – Возразил он. – Самолет у меня у самого есть. Купил по дешевке, всего семьсот крон... Чего им надо, вот что я не понимаю!

– Хулиганье, – сказал я. – Набить им как следует морду, вот и весь разговор...

Он желчно рассмеялся.

– Как же, набил один такой!.. Они тебя так отделают... Ты думаешь, их не били? Еще как били! Да, видно, мало... Их надо было в землю вбить, с пометом ихним вместе, а мы прозевали... А теперь, они нас бьют. Народ мягкий стал, вот что я тебе скажу. Всем на все наплевать. Отбарабанил свои четыре часика, выпил – и на дрожку, и бей ты его хоть из пушки. – Он в отчаянии хлопнул себя по мокрым бокам. – Ведь были же, говорят, времена! – Завопил он. – Ведь пикнуть же не смели! – Чуть из них кто вякнет – ночью к нему в белых балахонах или там в черных рубашках, дадут в зубы с хрустом и в лагерь, чтоб не вякал... В школах, сын рассказывает, все фашистов поносят: ах, негров обижали, ах, ученых совем затравили, ах, лагеря, ах, диктатура! Да не травить надо было, а в землю вбивать, чтобы на развод не осталось! – Он с длинным хлюпаньем провел ладонью под носом. – Завтра на работу с утра, а мне всю морду свезло... Пойдем выпьем, а то еще простудимся...

Мы пролезли через кусты и выбрались на улицу.

– Тут за углом "ласочка", – Сообщил он. "Ласочка" Была полна мокроволосыми полуголыми людьми. По–моему, все были подавлены, как–то смущены и мрачно хвастались друг перед другом синяками и ссадинами. Несколько девушек в одних трусиках, сгрудившись вокруг электрокамина, сушили юбки их платонически похлопывали по голому. Мой спутник сразу пролез в толпу и, размахивая руками и поминутно сморкаясь в два пальца, стал призывать "вколотить их, сволочей, в землю". Ему вяло поддакивали.

Я спросил русской водки, а когда девушки отошли и оделись, снял гавайку и подсел к камину. Бармен поставил передо мной стакан и снова вернулся за стойку к пухлому журналу – решать кроссворд. Публика разговаривала.

– И чего, спрашивается, стрелять? Не настрелялись, что ли? Как маленькие, ей–богу... Добро только портят.

– Бандиты, хуже гангстеров, а только как хотите, дрожка эта – тоже гадость.

– Это точно. Давеча моя говорит, я, говорит, тебя, папа, видела, ты, говорит, папа, синий был, как покойник, и очень уж страшный, а ей всего–то десять лет, каково мне было в глаза ей смотреть, а?..

– Эй, кто–нибудь, – сказал бармен, не поднимая головы. – Развлечение из четырех букв, это что?

– Ну, хорошо. А кто все это выдумал? И дрожку, и ароматьеры... А? Вот то–то...

– Если промокнешь, лучше всего бренди.

–... Ждали мы его на мосту. Смотрим, идет, очкарик, и трубу такую несет со стеклами. Мы его ка–ак взяли – с моста. С очками вместе и с трубой, только ногами дрыгнул... А потом ноздря прибегает, в сознание его, значит, привели, посмотрел с моста, как тот булькает. Ребята, говорит, да вы что, пьяные, это же совсем не тот, я этого, говорит, в первый раз вижу...

– А по–моему, надо издать закон: если ты семейный, нечего на дрожку шляться...

– Эй, кто–нибудь, – сказал бармен. – А как будет литературное произведение из семи букв? Книжка что ли?..

–... Так у меня у самого во взводе было четыре интеля, пулеметчики. Я помню, мы с пакгаузов удирали, – ну, знаете, там еще теперь фабрику строят, и вот двое остались прикрывать. Между прочим, никто их не просил, вызвались исключительно сами. А потом вернулись мы, а они висят рядышком на мостовом кране, голые, и все у них калеными щипцами повыдергано. Вот так, понял? А теперь, я думаю: где остальные двое сегодня, скажем, были? Может, они меня же слезогонкой угощали, ведь такие могут вполне...

– Мало ли кого вешали... Нас тоже вешали за разные места.

– В землю их вколотить до ноздрей, и все тут!

– Я пойду. Чего тут сидеть... У меня уже изжога началась. А там, наверное, все починили...

– Эй, бармен, девочки! По последней!

Гавайка моя высохла. Я оделся и, когда кафе опустело, перебрался за столик и стал смотреть, как в углу двое изысканно одетых пожилых людей тянут через соломинку коктейль. Они сразу бросались в глаза – оба, несмотря на очень теплую ночь, в строгих черных галстуках. Они не разговаривали, а один все время поглядывал на часы. Потом я отвлекся. Ну, доктор опир, как вам показалась эта дрожка? Вы были на площади? Да нет, вы, конечно, не были. А зря. Интересно было бы знать, что вы об этом думаете. Впрочем, черт с вами. Какое мне дело до того, что думает доктор опир? Что я сам об этом думаю? Что ты об этом думаешь, высококачественное парикмахерское сырье? Скорей бы акклиматизироваться. Не забивайте мне голову индукцией, дедукцией и техническими приемами. Самое главное – побыстрей акклиматизироваться. Почувствовать себя своим среди них... Вот все опять пошли на площадь. Несмотря на то, что произошло, они все–таки снова пошли на площадь. А у меня нет, ну, ни малейшего желания идти на площадь. Я бы с удовольствием пошел сейчас домой и опробовал свою кровать. А когда же к рыбарям? Интели, "девон" И рыбари. Интели может, это местная золотая молодежь? "Девон"... "Девон" Надо иметь в виду. Вместе с оскаром. Теперь рыбари...

– Рыбари – это немного вульгарно, – негромко, но отнюдь не шепотом сказал один из черных костюмов.

– Все зависит от темперамента, – сказал другой. Лично я нисколько не осуждаю карагана.

– Видите ли, я тоже не осуждаю. Немного шокирует то, что он забрал свой пай. Джентльмен так не поступил бы.

– Простите, но караган не джентльмен. Он всего лишь директор–распорядитель. Отсюда и мелочность, и меркантильность, и некоторая, я бы сказал, мужиковатость...

– Не будем так строги. Рыбари – это интересно. И честно говоря, я не вижу оснований, почему бы нам не заниматься этим. Старое метро – это вполне респектабельно. Уалд элегантнее нивеля, но мы же не отказываемся на этом основании от нивеля...

– И вы серьезно готовы?..

– Хоть сейчас... Кстати, без пяти два. Пойдемте?

Они поднялись, вежливо–дружески попрощались с барменом и пошли к выходу – элегантные, спокойные, снисходительно–высокомерные. Это было удивительной удачей. Я громко зевнул и, проговорив: "на площадь пойти...", Последовал за ними, раздвигая табуретки. Улица была еле освещена, но я сразу увидел их. Тот, что шел справа, был пониже, и, когда они проходили под фонарями, было видно, что волосы у него мягкие и редкие. По–моему, они больше не разговаривали.

Они обогнули сквер, свернули в совсем темный переулок, отшатнулись от пьяного человека, попытавшегося с ними заговорить, и вдруг резко, так ни разу и не оглянувшись, нырнули в сад перед большим мрачным домом. Я услышал, как гулко хлопнула тяжелая дверь. Было без двух минут два.

Я отпихнул пьяного, вошел в сад и присел на выкрашенную серебряной краской скамейку в кустах сирени. Скамейка была деревянная, дорожка, ведущая через сад, посыпана песком. Под"езд дома освещался синей лампочкой, и я разглядел две кариатиды, держащие балкон над дверью. На вход в метро это не было похоже, но это еще ничего не значило, и я решил подождать.

Ждать пришлось недолго. Зашуршали шаги, и на дорожке появилась темная фигура в накидке. Это была женщина. Я не сразу понял, почему мне показалась знакомой ее гордо поднятая голова с высокой цилиндрической прической, в которой блестели под звездами крупные камни. Я встал ей навстречу и произнес, стараясь придать голосу насмешливо–почтительные интонации:

– опаздываете, сударыня, уже третий час.

Она нисколько не испугалась.

– Да что вы говорите? – Воскликнула она. – Неужели мои часы отстают?

Это была та самая женщина, которая повздорила с шофером фургона, но она, конечно, не узнала меня. Женщины с такой брезгливой нижней губой никогда не помнят случайных встречных. Я взял ее под руку, и мы поднялись по широким каменным ступенькам. Дверь оказалась тяжелой, как крышка реакторного колодца. В вестибюле никого не было. Женщина, не оглядываясь, сбросила мне на руки накидку и пошла вперед, а я задержался на секунду, оглядывая себя в огромном зеркале. Молодец мастер гаоэй, но держаться мне все–таки рекомендуется в тени. Мы вошли в зал.

Нет, это было что угодно, но только не метро. Зал был большой и невероятно старомодный. Стены были обшиты черным деревом, на высоте пяти метров проходила галерея с балюстрадой. С раскидистого потолка грустно улыбались одними губами розовые белокурые ангелы. Почти всю площадь зала занимали ряды мягких кресел, обитых тисненой кожей и очень массивных на вид. В креслах, небрежно развалясь, располагались роскошно одетые люди, большей частью пожилые мужчины. Они смотрели в глубину зала, где на фоне черного глубокого бархата сияла ярко подсвеченная картина.

На нас никто не оглянулся. Дама проплыла в передние ряды, а я присел в кресло поближе к двери. Теперь я был почти совершенно уверен, что пришел сюда зря. В зале молчали и покашливали, от толстых сигар тянулись синеватые струйки дыма, многочисленные лысины покойно сияли под электрической люстрой. Я обратился к картине. Я неважный знаток живописи, но, по–моему, это был рафаэль, и если не подлинный, то весьма совершенная копия.

Грянул густой медный удар, и в ту же секунду рядом с картиной возник высокий худой человек в черной маске, весь от шеи до ногтей облитый черным трико. За ним, прихрамывая, следовал горбатенький карлик в красном балахоне. В коротких вытянутых лапках карлик держал огромный, тускло отсвечивающий меч самого зловещего вида. Он замер справа от картины, а замаскированный человек выступил вперед и глухо заговорил:

– в соответствии с законами и установлениями благородного сообщества меценатов и во имя искусства святого и неповторимого, властью, данной мне вами, я рассмотрел историю и достоинства этой картины, и теперь...

– Прошу остановиться! – Раздался позади меня резкий голос.

Все обернулись. Я тоже обернулся и увидел, что на меня в упор глядят трое молодых, видимо, очень сильных людей в изысканно старомодных костюмах. У одного в правой глазнице блестел монокль. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, затем человек с моноклем, дернув щекой, уронил монокль. Я сейчас же встал. Они разом двинулись на меня, ступая мягко и неслышно, как кошки. Я попробовал кресло оно было слишком массивное. Они кинулись. Я встретил их как мог, и сначала все шло хорошо, но очень быстро я понял, что у них кастеты, и еле успел увернуться. Я прижался спиной к стене и смотрел на них, а они, тяжело дыша, смотрели на меня. Их еще оставалось двое. В зале покашливали. С галереи по деревянной лестнице поспешно спускались еще четверо, ступеньки скрипели и визжали на весь зал. Плохо дело, подумал я и бросился на прорыв.

Это была тяжелая работа, совсем как в маниле, но там нас было двое. Уж лучше бы они стреляли, тогда бы я отобрал у кого–нибудь пистолет. Но они все шестеро встретили меня кастетами и резиновыми дубинками. Счастье еще, что было очень тесно. Левая рука у меня вышла из строя, когда четверо вдруг отскочили, а пятый окатил меня из плоского баллона какой–то холодной мерзостью. И сейчас же в зале погас свет.

Эти штучки были мне знакомы: теперь они меня видели, а я их – нет. И мне бы, наверное, пришел конец, но тут какой–то дурак распахнул дверь и жирным басом провозгласил: "Прошу прощения, я ужасно опоздал и так сожалею..." Я ринулся на свет по падающим телам, смел с ног опоздавшего, пролетел через вестибюль, вышиб парадную дверь и, придерживая левую руку правой, пустился бежать по песчаной дорожке. Никто меня не преследовал, но я пробежал две улицы, прежде чем догадался остановиться.

Я повалился на газон и долго лежал в жесткой траве, хватая ртом теплый парной воздух. Сразу собрались любопытные. Они стояли полукругом и глазели с жадностью, даже не переговаривались. "Пошли вон..." – Сказал я, наконец, поднимаясь. Они поспешно разошлись. Я постоял, соображая, где нахожусь, а затем побрел домой. На сегодня с меня было достаточно. Я так ничего и не понял, но с меня было вполне достаточно. Кто бы они ни были, эти члены благородного сообщества меценатов, – тайные поклонники искусства, или недобитые аристократы – заговорщики, или еще кто–нибудь, – дрались они больно и беспощадно, и самым большим дураком у них в зале был все–таки, по–видимому, я.

Я миновал площадь, где опять размеренно вспыхивали цветные плафоны и сотни истерических глоток орали: "Дрожка! Дрож–ка!" И этого с меня хватит. Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем–то мы не во сне... В заведении, куда меня проводила Вузи, я выпил бутылку ледяной минеральной воды, поглазел, отдыхая, на наряд полиции, мирно расположившейся у стойки, потом вышел и свернул на свою пригородную. За левым ухом у меня наливалась гуля величиной с теннисный мяч. Меня качало, и я шел медленно, держась поближе к изгороди. Потом я услыхал за спиной стук каблуков и голоса.

–... Твое место было в музее, а не в кабаке!

– Ничего подобного... Я не пьян. Как в–вы не понимаете, всего одна бутылка м–мозеля...

– Гадость какая! Напился, подцепил девку...

– При чем здесь девка? Это одна н–натурщица...

– Подрался из–за девки, заставил нас драться из–за девки...

– К–какого черта вы верите им и не верите мне?

– Да потому, что ты пьян! Ты подонок, такой же, как они, даже хуже...

– Ничего! Того мер–рзавца с браслетом я оч–чень хорошо запомнил... Не держите меня! Я сам пойду!...

– Ничего ты, братец, не запомнил. Очки с тебя сбили моментально, а без очков ты не человек, а слепая кишка... Не брыкайся, а то в фонтан!

– Я тебя предупреждаю, еще одна такая выходка, и мы тебя выгоним. Пьяный культуртрегер – какая гадость!

– Да не читай ты ему морали, дай человеку проспаться...

– Р–ребята! Вот он м–мерзавец!..

Улица была пуста, и мерзавцем, очевидно, был я. Я уже мог сгибать и разгибать левую руку, но мне было еще очень больно, и я остановился, чтобы пропустить их. Их было трое. Это были молодые парни в одинаковых каскетках, сдвинутых на глаза. Один, плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого, мордастого, с разболтанными движениями и неожиданными порывами. Третий, худой и длинный, с узким темным лицом, шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзила решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо.

– Попался с–скотина! – Заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой.

Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому:

– я вас не трогал.

– Перестань безобразничать! – Резко сказал длинный издали.

– Я тебя от–тлично запомнил! – Орал пьяный. – От меня не уйдешь! Я с тобой посчитаюсь!

Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог.

– Да это не тот! – Уговаривал приземистый, которому было очень весело. – Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый...

– М–меня не обманешь...

– Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним!

– Испугался, мер–рзавец! Браслет снял!

– Ты же его не видишь! Ты же без очков, балда!..

– Я все а–атлично вижу!.. А если даже и не тот...

– Прекрати, наконец!..

Длинный все–таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны.

– Да проходите вы! – Сказал он мне раздраженно. – Что вы, в самом деле, тут остановились? Пьяного не видели?

– Не–ет, от меня не уйдешь!

Я пошел своей дорогой. До дома было уже недалеко. Компания шумно тащилась следом.

– Если угодно, я его насквозь в–вижу! Царь пр–природы... Напился до рвоты, н–набил кому–нибудь мор–рду, сам получил как следует, и н–ничего ему больше не надо... Пупустите, я ему навешаю по чавке...

– До чего ты докатился, ведем тебя, как гангстера...

– А ты меня не в–веди!.. Я их ненавижу!.. Дрожки... Водки.. Бабы... Студень безмозглый...

– Да, конечно, успокойся... Только не падай.

– Довольно ур–п... Упреков!.. Вы мне надоели вашим фарисейством... Пу–ри–тант... Танством... Нужно рвать! Стрелять! Всех стереть с лица земли!

– Ох, и нализался! А я было решил, что он совсем протрезвел...

– Я тр–резв! Я все помню. Двадцать восьмого... Что, не так?

– Заткнись, балда!

– Ч–ш–ш–ш–ш! Вер–рна! Враг начеку... Ребята, тут был где–то шпик... Я же с ним разговаривал... Браслет, сволочь, с–снял... Но я этого шпика еще до двадцать восьмого...

– Да замолчи ты!

– Ч–ш–ш–ш–ш! Все! И ни слова больше... И не беспокойтесь, минометы за мной...

– Я его сейчас убью, этого подонка...

– Па вр–врагам ци... Цивилизации... Полторы тысячи метров слезогонки – лично... Шесть секторов... Э–эк!

Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, рослый лежал лицом вниз, приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой.

– Ну зачем ты это сделал? – Сказал приземистый. – Ты же его искалечил.

– Хватит болтовни, – сказал длинный яростно. – Никак не отучимся болтать. Никак не отучимся пить водку. Хватит.

Будем как дети, доктор опир, подумал я, по возможности бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь.

– А где этот? – Спросил длинный, понижая голос.

– Кто?

– Этот тип, который шел впереди...

– Свернул куда–то...

– Куда, ты не заметил?

– Слушай, мне было не до него.

– Жаль... Ну ладно, бери его, пошли.

Отступив в тень яблонь, я смотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел.

В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался: жевлак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да ободранные кулаки.

На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые тридцать суток. Сумма оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие, в открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сипел фонор. Я собирался немного подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал.

Что–то разбудило меня, и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где–то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал:" ... В гробах мало побыв, выходят и живут, как живые средИ живых..." Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариный звон, доносилось: "Дрож–ка! Дрож–ка!" Жалозный голос произнес: "... Кровь с землей замешав, не поест..." Я Подумал, что это пьяная Вузи плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал вполголоса: "Вузи!" Никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул: "Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих!" – И я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий "Оппель". На монтажном столике горели две свечи. Пахло ароматическим бензином и горячим воском.

Под свечами на шведской скамейке сидел лэн в белой до пяток рубашке и босиком, с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, и лицо его было совсем белое и окаменевшее от ужаса.

– Ты что здесь делаешь? – Громко спросил я и вошел.

Он молча смотрел на меня, затем начал дрожать. Я услышал, как стучат его зубы.

– Лэн, дружище, – сказал я. – Да ты, видно, не узнал меня. Это же я, иван.

Он выронил книгу и спрятал руки под мышками. Как и сегодня утром, лицо его покрылось испариной. Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне. Его всего трясло. Я посмотрел на книгу. Некий доктор нэф осчасливил человечество "Введением в учение о некротических явлениях". Я пинком отбросил книгу под столик.

– Чья это машина? – Спросил я громко.

– Ма... Мамина...

– Отличный "Форд".

– Это не "Форд". Это "Опель".

– А ведь верно, "Опель"... Миль двести, наверное?

– Да...

– А где ты свечки достал?

– Купил.

– Да ну? Вот не знал, что в наше время продаются свечи. А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать, гляжу, свет в гараже...

Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом:

– вы.. Вы еще немножко не уходите.

– Ладно. А может, погасим свет и пойдем ко мне?

– Не, туда нельзя.

– Куда нельзя?

– К вам. И в дом нельзя. – Он говорил с огромной убежденностью. – Еще долго нельзя. Пока не заснут.

– Кто?

– Они.

– Кто – они?

– Они. Слышите?

Я прислушился. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где–то далеко–далеко орут: "Дрож–ка! Дрожка!".

– Ничего особенного не слышу, – сказал я.

– Это потому, что вы не знаете. Вы здесь новичок, а новичков они не трогают.

– А кто же все–таки – они?

– Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами?

– Пети? Видел. А почему он хмырь? По–моему, вполне приличный человек...

Лэн вскочил.

– Пойдемте, – сказал он шепотом. Я вам покажу. Только тихо.

Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лэн все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая.

– Вот, смотрите, – сказал лэн.

Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде, просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо, оно было синее, вспухшее, покрытое темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные, скошенные к переносице глаза. "Ходят между живыми, как живые, при свете дня, – борматал лэн, держась, за меня обеими руками. – Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах..." Я подошел к веранде. Таможенник был в ночной пижаме. Он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой на битое стекло.

– Да он просто пьян, – сказал я громко. – Пьяный человек. Храпит. Очень противно.

Лэн помотал головой.

– Вы новичок, – прошептал он. – Вы ничего не видите. А я видел... – Его снова затрясло. – Их много пришло... Это она их привела... И принесли ее... Была луна. Они отпилили ей макушку... Она кричала, так кричала... А потом стали есть ложками. И она ела, и все смеялись, что она кричит и бьется...

– Кто? Кого?

– А потом завалили деревом и сожгли... И плясали у костра... А потом все зарыли в саду... Она за лопатой ездила на машине... Я все видел... Хотите, покажу, где зарыли?

– Вот что, приятель, – сказал я. – Пошли ко мне.

– Зачем?

– Спать, вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем.

– Никто не спит. Вы совсем новичок. Сейчас никто не спит. Сейчас спать нельзя.

– Пошли, пошли, – сказал я. – Ко мне пошли.

– Не пойду, – сказал он. – Не трогайте меня. Я вашего имени не называл.

– А вот сейчас ремень возьму, сказал я грозно, – и напорю тебя по заднице!

Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал.

– Пошли, дружище, пошли, – сказал я. – Ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. И если что–нибудь случится, сразу тебя разбужу.

Мы влезли через окно в мою спальню (входить в дом через дверь он отказался наотрез), и я уложил его В постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздрагивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил сигарету, чтобы успокоится. Я попытался думать о римайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случится двадцать восьмого числа, о меценатах, но у меня ничего не получилось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле, как о чем–то важном. Мысли разбегались, лезли эмоции, я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал совсем не за тем, за чем нужно.

А лэн спал. Он не проснулся даже, когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто–то заорал, зареготал и завыл на разные голоса, и я решил было, что перед домом совершают преступление, но оказалось, что это всего–навсего вернулась вузи. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что–то тяжелое и, наконец, затихла. Было около пяти. Над морем разгоралась заря.

Глава восьмая.

Когда я проснулся, лэна уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавала в темя, и я дал себе слово сегодняшний день "Ходить опасно". Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое–как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился: в доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вошел таможенник пети. Ну, знаете, подумал я. Ночью пети был похож на перепившего утопленника. Сейчас, при свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью. Свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но в общем он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимание, сейчас все будет в порядке...

– Доброе утро, – пробормотал я.

– Доброе утро, – вежливо, несколько в нос отозвался он, осторожно промакивая подбородок.

– Что с вами? Вам помочь?

– Пустяки, – сказал он. – Упал стул...

Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал–полковником тууром или по крайней мере штаб–майором полом.

– Доброе утро, ранняя птичка, – проворковала она. – А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час?

– Я никак не мог решиться побеспокоить вас, проговорил я, светски содрагаяь и мысленно взвыв от боли в плече. – Доброе утро, и позвольте вручить вам...

– Как мило! Сразу видно истинного джентльмена. Генерал–полковник туур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда. Никого...

Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены, и в холл тянуло чем–то сладким.

– Но вам, право же, не нужно было так уж спешить... Она, наконец, выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь. – Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность... Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу лэна, так что простите... Кстати, свежие газеты у вас на веранде.

– Благодарю вас, – сказал я, отступая.

– Если у вас достанет терпения, через часок прошу вас на чашку сливок.

– К сожалению, я должен буду уйти, – сказал я и откланялся.

Газет было шесть. Две местные, иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему–то арабская "Эль гурия". "Эль гурию" я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао.

В боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом рейес, мятежники оттеснены за реку бени. В москве на международном конгрессе ядерников хаггертон и соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивеществ. Третьяковская галерея прибыла в леопольдвиль, официальное открытие произойдет завтра. С базы "Старый восток" (плутон) в зону абсолютно свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств, с двумя устройствами из четырех связь временно потеряна. Генеральный секретарь оон направил генералиссимусу орельяносу официальное послание, к котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в эльдорадо будут введены полицейские силы оон. У истоков реки квандо (центральная ангола) археологическая экспедиция академии наук оар обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода. Группа специалистов об"Единенного центра исследований субэлектронных (ритринитивных) структур оценивают запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на три миллиарда лет. Космический отдел юнеско сообщает, что относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на земле. Глава английской делегации в оон от имени великих держав выступил с проектом полной демилитаризации, хотя бы и насильственным путем, еще милитаризованных районов земного шара...

Сообщения о том, кто сколько килограммов выжал и кто сколько мячей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три.

Городская газета "радость жизни" Писала: "этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили одиннадцать газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов при явном попустительстве полиции. Председатель общества "За старую добрую родину, против вредных влияний" заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства..."

На девятнадцатой странице газета отвела полосу для статьи "выдающегося представителя новейшей философии, лауреата литературных премий доктора опира". Статья называлась "мир без забот". Доктор опир красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков–очернителей и приглашал "быть как дети". Особенную роль в формировании психологии современного (то есть беззаботного) человека он отводил методам волновой психотехники. "Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон! – Восклицал представитель новейшей философии. – И недаром сон, как средство излечения многих психических заболеваний, известен уже более ста лет. Но ведь все мы немножко больны: мы больны нашими заботами, нас одолевают мелочи быта, правда, редкие, но кое–где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства, неизбежные трения между индивидуальностями, нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущее каждому гражданину... И подобно тому, как ароматный бадусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу. И теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства. Мы знаем: наступит час, и невидимое излучение грезогенератора, который я вместе с публикой склонен называть именем "Дрожка", исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия". Далее доктор опир об"яснял, что дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле и что нападки недоброжелателей, усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о "Дремлющем человечестве", не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а возможно, и более высоких и грозных для них, недоброжелателей, гражданских чувств. В заключении доктор опир об"Являл счастливый сон лучшим видом отдыха, смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркоманства, и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными (не опробированными медициной) средствами волнового воздействия.

Еженедельник "золотые дни" Сообщал о том, что из государственной картинной галереи похищено ценное полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт является третьим за истекшие четыре месяца этого года и что ни одного из ранее похищенных произведений искусства найдено так и не было.

В общем–то читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня самое тягостное впечатление. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых особенной глупостью сияли серии "без слов", Биографии каких–то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий "ваш муж на службе и дома", Бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников "заварушки" И борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких–то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки...

Я швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что у них здесь за тоска!.. Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют... Дурак стал нормой, еще немного – и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистический, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать... А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!). Чего они в самом деле! Больше других иМ надо, что ли?.. Тоска, тоска... Какое–то проклятье на этих людях, какая–то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм... Десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб... В том числе миллионы погибших дураков злых и добрых, виноватых и невинных... Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники, озверелое от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взалкавшая власти... Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно справились. Ветерок перебирает листы "истории фашизма" Под ногами... Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи... "Мелкие, кое–где еще встречающиеся неустройства", Увещевали и успокаивали доктора опиры, а в окна университетов летели бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели как свечи... Ладно. Отпихнув локтем докторов опиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат – справились. Снова горизонты безоблачны. Снова вылезли опиры, снова замурлыкали еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта... И еще что–то, чему пока нет названия... И снова у них все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного: чтобы было весело. Но где–то кто–то сходит с ума, кто–то рожает детей–идиотов, кто–то странно умирает в ваннах, кто–то не менее странно умирает у каких–то рыбарей, а меценаты охраняют свою страсть к искусству кастетами... И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как мерегни, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием (чтобы было весело и ни чем не надо думать) предаются снам как пьянству... И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами (и это правда) , что энергии хватит на миллиарды лет (и это правда), чтО жизнь становится все интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, но не для дураков), И демагоги–очернители (читай: люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все человечество, как когда–то пивные путчи превратились в мировую угрозу) , чуждые интересам народа, подлежат всемерному осуждению... Дураки и преступники... Преступники–дураки...

– Работать надо, – сказал я вслух. – К черту меланхолию... Мы вам покажем скептиков!

Пора было идти к римайеру. Правда, рыбари... Ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя вайна кормит лэна завтраком.

– Ну, мам, ну, я не хочу!

– Кушай, сынок, надо кушать... Ты такой бледненький...

– А я не хочу! Комки противные...

– Да где же комки? Ну, давай я сама с"ем... М–м–м! Как вкусно! Попробуй только и увидишь, как вкусно...

– А если я не хочу! Я больной, я не пойду в школу.

– Лэн, ну, что ты говоришь! Ты так много пропускаешь...

– И пусть...

– Как же пусть! Меня уже директор два раза вызывал. Нас оштрафуют!

– Ну и пусть штрафуют...

– Кушай, кушай, сынок... Может быть, ты не выспался?

– Не выспался! И у меня живот болит... И голова... И зуб... Вот видишь, вот этот...

Голос у лэна был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающую ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до "Олимпика" я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко–красной краской, другой – ярко–синей. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня.

В отеле я сразу поднялся на девятый этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того римайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь римайер нужен мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откровенно только с римайером. Правда, это был не тот римайер, на которого я рассчитывал, но об этом в конце концов тоже нужно было поговорить...

У дверей номера римайера стоял давешний рыжий оскар, и, увидев его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озадаченный.

– Привет, – сказал я. Надо же было с чего–то начинать.

Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал:

– здравствуйте.

– Вы тоже к римайеру? – Спросил я.

– Римайер плохо себя чувствует, – сказал он. Он стоял у самой двери и не собирался, по–видимому, уступать мне дорогу.

– Какая жалость, – сказал я, придвигаясь. – А что с ним?

– Он очень плохо себя чувствует.

– Ай–яй–яй–яй, – сказал я. – Надо бы посмотреть...

Я подошел к оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо.

– Я не уверен, что это так уж надо, – желчно сказал он.

– Что вы говорите! Неужели так плохо?

– Вот именно. Очень плохо. И вам не следует его беспокоить. Ни сегодня, ни в другие дни.

Кажется, я пришел вовремя, подумал я. И надеюсь, не опаздал.

– Вы его родственник? – Спросил я. Я был очень миролюбив.

Он осклабился.

– Я его друг. Самый близкий в этом городе. Можно сказать, друг детства.

– Это очень трогательно, – сказал я. – А вот я – его родственник. Все равно что брат. Давайте вместе зайдем и посмотрим, что могут сделать для бедняги римайера его друг и его брат.

– Может быть, брат уже сделал для римайера достаточно?

– Ну что вы... Я только вчера приехал.

– А у вас нет здесь случайно других братьев?

– Я думаю, их нет среди ваших друзей, – сказал я. Римайер – исключение...

Пока мы несли эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руку в кармане, и хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия. Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии. А оскар, по–видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него явно ничего подходящего не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал:

– заходите...

Мы вошли. Римайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытый сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посередине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к римайеру и сел так, чтобы не терять из виду оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у римайера были открыты. Я наклонился над ним.

– Римайер, – позвал я. – Это я, иван. Вы узнаете меня?

Он тупо глядел мне в лицо. На поэбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина.

– Ты уже там... – Пробормотал он. – Рыбарей... Чтобы долго... Не бывает... Ты не обижайся... Мешал очень... Не терплю.

Это был бред. Я посмотрел на оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею.

– Нехорошо, когда просыпаешься... – Бормотал римайер. – Никому... Просыпаться... Начинают... Тогда не просыпаться...

Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред римайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке римайера, совсем свежая. Рыжая морда, подумал я, глядя на оскара, как же от тебя избавиться?

– Надо вызвать врача, – сказал я. – Почему вы не вызвали врача, оскар? По–моему, это делириум тременс...

Я сейчас же пожалел о сказанном. От римайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным, и оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил:

– делириум тременс? Вы уверены?

– Нужно немедленно вызвать врача, – повторил я. – И сиделок.

Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку.

– Зачем же вы? – Сказал он. – Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача.

– Ну какой там у вас врач... – Возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая.

– Отличный врач. Как раз специалист по белой горячке.

– Вот видите, – сказал я. – А может быть, у римайера и нет никакой белой горячки.

Римайер вдруг сказал:

– так я велел... Альзо шпрахт римайер... Наедине с миром...

Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. Сволочь, подумал я про оскара, имеет наглость торчать здесь. У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной: свалить оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много. А может быть, и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть.

– Хорошо, – сказал я. – Пусть врача вызовет портье.

Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле римайера, а оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что–то с пола. Что–то маленькое и пестрое.

– Что это там? – Спросил я равнодушно.

Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой.

– А, – сказал я и поглядел на оскара. – "Девон".

– "Девон", – отозвался он. – Странно, что здесь, а не в ванной, правда?

Черт, подумал я. Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал.

– Ничего странного, – сказал я наобум. – Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана.

– У меня из кармана? – Он страшно удивился. – А, вы имеете в виду, что я... Но я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю. Но если вы интересуетесь, я могу помочь.

– Это очень интересно, – сказал я. – Я посоветуюсь...

Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер.

Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт римайер. Римайер лежал совершенно голый.

– Ну конечно... – Сказал врач. – Опять... – Он поднял римайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. Сестра, кордеин... И вызовите горничных, пусть вылижут эту конюшню до блеска... – Он выпрямился и посмотрел на нас. Родственники?

– Да, – сказал я. Оскар промолчал.

– Вы нашли его уже без сознания?

– Он лежал и бредил, – сказал оскар.

– Это вы перенесли его сюда?

Оскар помедлил.

– Я только укрыл его портьерой, – сказал он. – Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится.

Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал:

– впрочем, это безразлично. Вы можете идти. С ним останется сиделка. Оба. Вечером можете позвонить. Всего хорошего.

– А что с ним, доктор? – Спросил я.

Врач пожал плечами.

– Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение... Кроме того, он по–видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свидания.

Мы вышли в коридор.

– Пойдемте выпьем, – предложил я.

– Вы забыли, что я не пью, – заметил оскар.

– Жаль. Вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Римайер всегда был таким здоровяком...

– Ну, в последнее время он сильно сдал, – сказал оскар осторожно.

– Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел...

– Я тоже, – сказал оскар. Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже.

– Где вы остановились? – Спросил я.

– Здесь же, – сказал оскар. – Этажом ниже, восемьсот семнадцатый номер.

– Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить.

– Да, это было бы не плохо. Но, к сожалению, я очень спешу. – Он промолчал. – Знаете что, дайте мне ваш адрес, завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около десяти – вас устроит? Или вы позвоните мне...

– Отчего же... – Сказал я и дал ему свой адрес. Честно говоря, меня очень интересует "Девон".

– Я думаю, мы сумеем договориться, – сказал оскар. До завтра.

Он сбежал по лестнице. Он действительно, по–видимому, спешил. А я спустился в лифте и дал телеграмму марии: "Брату очень плохо чувствую себя одиноким бодрюсь иван". Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Римайер снова вышел из игры – по крайней мере на сутки. Единственный намек, который он мне дал, это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где–то в старом метро; был "Девон", который, возможно, каким–то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог не иметь к нему никакого отношения; был оскар, явно связанный с "Девоном" и с римайером, фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах; был еще какой–то буба, снабдивший "Девоном" пористый нос... В конце концов я здесь всего сутки, подумал я. Время есть. И на римайера в конце концов можно еще расчитывать, и пека, может быть, удастся найти... Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму зигмунду: "Концерт самодеятельности двадцать восьмого подробности не знаю иван". Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к старому метро.

Глава девятая.

– Приходили бы вечером, сейчас слишком рано.

– А мне хочется сейчас.

– Приспичило, значит... А вы, может, адресом ошиблись?

– Да нет, не ошибся.

– И вот именно сейчас вам и надо?

– Именно сейчас. И не позже.

Он поцокал языком и дернул себе нижнюю губу. Он был коренастый, плотный, с круглой, гладко выбритой головой. Говорил он, едва шевеля языком, и утомленно заводил глаза под верхние веки. По–моему, он не выспался. Его приятель, сидевший за барьером в кресле, по–видимому, тоже не выспался. Но он вообще не говорил ни слова и даже не смотрел в мою сторону. Помещение было мрачное, затхлое, с отставшими от стен покоробленными панелями. С потолка свисала тусклая от пыли лампочка без абажура на грязном шнуре.

– Почему бы вам все–таки не прийти попозже? Промямлил круглоголовый. – Когда все приходят...

– Так уж мне захотелось, – скромно сказал я.

– Захотелось... – Он пошарил на столе. – У меня вот и бланка не осталось... Эль, у тебя есть бланки?

Эль молча нагнулся и вытянул откуда–то из–под барьера мятый лист бумаги. Круглоголовый сказал, зевая:

– приходите ни свет ни заря... Народу никого нет, девчонок тоже... Спят еще... Веселья никакого... – Он протянул мне бланк. – Заполните и подпишите, – сказал он. Мы с элем подпишемся за свидетелей. Деньги сдайте... Не беспокойтесь, у нас честно. Документы у вас есть какие–нибудь?

– Никаких.

– И то хорошо.

Я просмотрел бланк. "Настоящим я, нижеподписавшийся (пропуск), в присутствии свидетелей (большой пропуск) убедительно прошу подвергнуть меня приемным испытаниям на соискание звания члена общества доц. Подпись соискателя. Подписи свидетелей".

– Что такое доц? – Спросил я.

– Это мы так зарегистрированы, – ответил круглоголовый. Он пересчитывал деньги.

– Но доц как–то расшифровывается?

– А кто его знает... Это еще до меня было. Доц и доц... Ты не знаешь, эль? – Эль лениво помотал головой. Ну в самом деле, не все ли вам равно...

– Абсолютно все равно, – сказал я, вставил свое имя и подписался.

Круглоголовый посмотрел, тоже вписал свое имя и подписался, и передал бланк элю.

– Похоже, вы иностранец, – сказал он.

– Да.

– Тогда припишите ваш домашний адрес. У вас родные есть?

– Нет.

– Тогда и не надо. Готово, эль? Положи в папку... Ну, пойдемте?

Он поднял барьер и подвел меня к массивной квадратной двери, оставшейся, наверное, еще с тех времен, когда метро оборудовали под атомоубежище.

– Выбора–то никакого нет, – сказал он, словно оправдываясь. Он выдвинул засовы и с натугой повернул ржавую рукоять. – Пойдемте прямо по коридору, – сказал он, – а там сами увидите.

Мне показалось, что эль позади хихикнул. Я обернулся. В барьер перед элем был встроен небольшой экран. На экране что–то двигалось, но я не разглядел что. Круглоголовый, налегая всей тяжестью на рукоять, откатил дверь. За дверью открылся пыльный проход. Несколько секунд круглоголовый прислушивался, затем повторил:

– прямо по этому коридору.

– А что там будет? – Спросил я.

– Чего хотели, то и получите... Или, может, вы раздумали?

Все это явно не то, что надо, но, как известно, никто ничего не знает, пока сам не попробует. Я перешагнул через высокий порог, и дверь с чмоканьем закрылась за мной. Было слышно, как заскрежетали засовы.

Коридор освещали несколько уцелевших ламп. Было сыро, на цементных стенах цвела плесень. Я постоял, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме редкого стука капель. Я осторожно двинулся вперед. Под ногами скрипела цементная крошка. Коридор скоро кончился, и я очутился в сводчатом бетонном тоннеле, освещенном совсем уже скверно. Когда глаза привыкли к сумраку, я разглядел рельсовый путь. Рельсы были ржавые, между ними темнели лужи неподвижной воды. Под сводом тянулись провисшие провода. Сырость прохватывала до костей, и отвратно пахло – не то падалью, не то испорченной канализацией. Нет, это совсем не то, что нужно. Мне не хотелось терять времени даром, и подумал, что сейчас вернусь и скажу, что приду в другой раз. Но сначала я решил – просто из любопытства – пройти немного по тоннелю. Я пошел направо, на свет далеких ламп. Я перескакивал через лужи, спотыкался о прогнившие шпалы, путался в оборванных кабелях. Дойдя до лампы, я снова остановился.

Рельсовый путь бы разобран. Шпалы валялись вдоль стен, а на пустом полотне зияли дыры, наполненные водой. Затем я увидел рельсы. Никогда мне не приходилось видеть рельсы в таком состоянии. Некоторые были скручены штопором. Они были начищены до блеска и напоминали огромные сверла. Другие были с огромной силой вбиты в полотно и в стены тоннеля. А третьи были завязаны в узлы. У меня мороз пошел по коже, когда я увидел это. В простые узлы, в узлы с бантом, в узлы с двумя бантами, как шнурки на ботинках... Они были сизые от окалины.

Я посмотрел вперед, в глубину тоннеля. Оттуда тянуло гниющей падалью, тусклые желтые огни редких ламп мерно мигали, словно что–то раскачивалось на сквозняке, заслоняя и снова открывая их. Нервы мои не выдержали. Я чувствовал, что это не более чем дурацкая шутка, но я ничего не мог с собой поделать. Я присел на корточки и осмотрелся. Скоро я нашел то, что искал: метровый обломок железного прута. Я взял его под мышку и двинулся дальше. Железо было холодное, влажное и шершавое от ржавчины.

Косой мигающий свет далеких ламп озарял скользкие, блестящие от сырости стены. Я уже давно заметил на них странные круглые потеки, но вначале не обратил на это внимание, а потом заинтересовался и подошел посмотреть. По стене, насколько хватал глаз, тянулись два ряда круглых следов, разделенных метровым интервалами. Это выглядело так, как будто по стене здесь пробежал слон, и пробежал не очень давно – на краю одного такого следа слабо шевелилась раздавленная белая сороконожка. Хватит, подумал я, пора возвращаться. Я посмотрел вдоль тоннеля. Теперь под лампами впереди были отчетливо видны черные качающиеся гирлянды. Я взял прут поудобнее и пошел вперед, держась поближе к стене.

Это тоже впечатляло. Под сводами тоннеля тянулись провисшие кабели, а на них, связанные хвостами и собранные в тяжелые щетинистые гроздья, покачивались на сквозняке сотни и сотни мертвых крыс. В полумраке жутко блестели мелкие оскаленные зубы, торчали во все стороны закостеневшие лапки, и эти гроздья длинными гнусными гирляндами уходили в темноту. Густой тошнотворный смрад опускался из–под свода и растекался по тоннелю, шевелящийся, плотный, как кисель...

Раздался пронзительный визг, и под ноги мне вдруг бросилась огромная крыса. Потом еще одна. И еще. Я попятился. Они мчались оттуда, из темноты, где не было ни одной лампы. И оттуда вдруг толчками пошел воздух. Я нащупал локтем пустоту в стене и вдвинулся в нишу. Под каблуками заверещало и задергалось живое – я не глядя отмахнулся своей железной палкой. Мне было не до крыс, потому что я слышал, как кто–то тяжело и мягко бежит по тоннелю, плюхая по лужам. Зря я ввязался в это дело, подумал я. Железный прут показался мне таким легким и ничтожным по сравнению с завязанными в узлы рельсами. Это не летучая пиявка... И не динозавр из конго... Только б не гигантопитек, все что угодно, только бы не гигантопитек. У этих ослов хватит ума выловить гигантопитека и запустить в тоннель... Я плохо соображал в эти секунды. И неожиданно ни с того ни с сего подумал о римайере. Зачем он послал меня сюда? Что он сошел с ума?.. Только бы не гигантопитек...

Он пронесся мимо меня так быстро, что я не успел разобрать, что это такое. Тоннель гудел от его галопа. Затем где–то совсем рядом раздался отчаянный скрежещущий визг пойманной крысы, и наступила тишина. Я осторожно выглянул. Он стоял шагах в десяти, под самой лампой, и ноги подо мной обмякли от огромного облегчения.

– Умники–затейники, – сказал я вслух, чуть не плача. Остряки–самоучки... Это надо же было додуматься! Талантысамородки...

Он услышал мой голос и, задрав кормовые ноги, произнес:

– температурка у нас будет два метра тринадцать дюймов, влажности нет, чего нет, того нет...

– Повтори свое задание, – сказал я, подходя.

Он со свистом выпустил из присосков сжатый воздух, бессмысленно подрыгал ногами и взбежал на потолок.

– Слезай вниз, – приказал я строго, – и отвечай на вопрос.

Он висел у меня над головой среди заплесневелых проводов, этот давно устаревший кибер, предназначенный для работ на астероидах, жалкий и нелепый, весь в лохмотьях от карбонной коррозии и в кляксах черной подземной грязи.

– Слезай вниз! – Рявкнул я.

Он швырнул в меня дохлой крысой и умчался в темноту.

– Базальты! – Вопил он на разные голоса. Псевдометаморфические породы! Я над берлином! Как слышите? Пора спать!

Я бросил палку и пошел за ним следом. Он добежал до следующей лампы, спустился вниз и стал быстро, по–собачьи, рыть бетон рабочими манипуляторами. Бедняга, у него и в лучшие–то времена мозг был способен к нормальной работе только при тяжести в одну сотую земной, а сейчас он был совершенно невменяем. Я нагнулся над ним и стал шарить под панцирем, отыскивая узел регулировки. "Вот поганцы", сказал я вслух. Узел регулировки был расплющен, словно но нему ударили кувалдой. Он бросил копать и схватил меня за ногу.

– Стоп! – Гаркнул я. – Прекратить!

Он прекратил, лег на бок и сообщил басом:

– надоел он мне до смерти, эль. Бренди бы сейчас выпить...

Внутри у него щелкнули контакты, и заиграла музыка. Шипя и посвистывая, он исполнил "Марш охотников". Я смотрел на него и думал, как это глупо и отвратительно, как смешно и страшно одновременно. Если бы я не был межпланетником, если бы я испугался и побежал, он бы почти наверняка убил меня... А ведь здесь никто не знал, что я был межпланетником. Никто. Ни один человек. Римайер тоже не знал, что я был межпланетником...

– Встань, – сказал я.

Он зажужжал и принялся ковырять стену, и тогда я повернулся и пошел обратно. Все время, пока я шел до поворота в коридор, мне было слышно, как он гремит и лязгает в груде исковерканных рельсов, шипит электросваркой и несет околесицу на два голоса.

Противоатомная дверь была уже открыта. Я шагнул через порог и захлопнул ее за собой.

– Ну как? – Спросил круглоголовый.

– Глупо, – ответил я.

– Я же не знал, что вы межпланетник. Вы работали в космосе?

– Работал. Все равно глупо. На дураков. На неграмотных экзальтированных дураков.

– На каких?

– Экзальтированных.

– А–а... Ну, это вы зря. Многим нравится. А вообще я вам говорил, что приходили бы вечером. У нас вообще для одиночек развлечений мало... – Он налил виски и добавил содовой из сифона.

– Хотите?

Я взял стакан и облокотился на барьер. Эль с сигареткой, прилипшей к губе, угрюмо смотрел на экран. По экрану метались ослизлые стены тоннеля, скрюченные рельсы, черные лужи, летели искры электросварки.

– Это не для меня, – заявил я. – Пусть этим занимаются бухгалтеры и парикмахеры. Я против них, конечно, ничего не имею, но мне–то надо такое, чего я никогда в жизни не видел.

– Сами, значит, не знаете, чего хотите, – сказал круглоголовый. – Это тяжелый случай. Вы, извиняюсь, не интель?

– А в чем дело?

– Нет, вы только не подумайте чего–нибудь, перед костлявой, сами понимаете, все равны. Я только что хочу сказать? Что интели – самые капризные клиенты, вот и все. Верно, эль? Если приходит, скажем, тот же бухгалтер или парикмахер, он хорошо знает, чего ему надо. Кровь погонять ему надо, чтобы себя показать, собой погордиться, чтобы девчонки визжали, чтобы показывать всем дырки в шкуре... Это парни простые, каждому хочется считать себя мужчиной. Ведь кто он такой, наш клиент? Способностей особенных у него нет, да они ему и не требуются... Вот раньше, я в книге читал, хоть завидовали друг другу, сосед, мол, как сыр в масле катается, а я на холодильник накопить не могу разве это можно вытерпеть? Цеплялись, конечно, зубами за барахло, за деньги, за место выгодное... Жизнь на это клали! У кого кулак крепче или голова хитрее, тот и наверху... А теперь ведь жизнь стала жирная, тихая, всего в достатке. К чему себя применить? Я же не карась, я же человек все–таки, мне же скучно, а придумать сам ничего не умею. Это ведь надо особые способности иметь – придумывать! Это надо же гору книг прочитать, а попробуй–ка их читать, когда тебя от них тошнит... Прославиться там в мировом масштабе или выдумать чего–нибудь вроде машины – это мне и в голову не сразу придет, а если и придет – что толку? Никому ты в общем–то не нужен, даже жене и детям собственным не нужен, если разобраться, верно, эль? Да и тебе никого не надо... Теперь, значит, придумывают для тебя умные люди что–нибудь новенькое, то ароматьеры эти, то дрожку, то новую пляску... Питье вот новое придумали... "Хорек" называется... Хотите, я вам собью? Он этого "Хорька" хватит – глаза на лоб, он и доволен... А пока глаза у него на месте, жизнь для него все равно что дождевая вода. Вот к нам тут один интель ходит и каждый раз жалуется: жизнь, говорит, пресна, ребята... А отсюда я выхожу – герой! После, скажем, пульки или "Один на двенадцать" я же совсем по–другому на себя смотрю. Верно, эль? Мне все снова сладко делается – бабы, жратва, вино...

– Да, – сказал я сочувственно. – Я вас хорошо понимаю. Но для меня–то все это тоже пресно.

– Слег ему нужен, – сказал вдруг эль басом.

– Что–что? – Спросил я.

– Слег, говорю.

Круглоголовый весь сморщился.

– Ну брось, эль. Ну что ты сегодня какой–то...

– Кашлять я на него хотел, – сказал эль. – Не люблю я этих... Все ему пресно, все ему не так.

– Вы его не слушайте, – сказал круглоголовый. – Он ночь не спал, утомился...

– Нет, почему же? – Возразил я. – Очень интересно. Что это за слег?

Круглоголовый опять сморщился.

– Неприлично это, понимаете? – Сказал он. – Вы эля не слушайте, он хороший парень, простой, но ему обложить человека ничего не стоит. А слово это нехорошее. Повадились сейчас какие–то на стенах его везде писать. Вот ведь хулиганье, а? Сопляки, толком и не знают, что это такое, а пишут... Вон, видите, мы барьер обстругали... Сволочь какаято вырезала, поймал бы его – наизнанку вывернул бы... Ведь у нас женщины бывают.

– Ты скажи ему, – произнес эль, обращаясь к круглоголовому, – чтобы раздобыл себе слег и утихомирился. Пусть найдет бубу...

– Да заткнись ты, эль! – Сказал круглоголовый сердито. – Не слущайте вы его...

Услышав имя бубы, я снова наполнил стакан и устроился поудобнее.

– Что же это такое, – сказал я, – тайный порок какой–нибудь?

– Тайный! – Сказал эль басом и нехорошо заржал. Круглоголовый тоже засмеялся.

– У нас тайного ничего быть не может, – сказал он. Какие могут быть тайны, когда народ с пятнадцати лет закладывает? Дураки эти, интели, все секреты разводят... Хотят двадцать восьмого заварушку устроить, шепчутся, минометы давеча за город повезли, чтобы спрятать, значит, ну, как дети, ей–богу! Верно, эль?

– Ты ему скажи, – простой хороший парень эль гнул свое. – Ты ему скажи: пусть валит ко всем чертям. Ты за него не заступайся. Так ему и скажи: пусть идет к бубе в "Оазис", и весь разговор.

Он выбросил на барьер мой бумажник и бланк. Я допил виски. Круглоголовый серьезно сказал:

– конечно, как хотите, дело ваше, но я вам советую от этих вещей держаться подальше. Мы, может, все к этому придем, да чем позже, тем лучше. Я вам даже об"Яснить не могу, я только чувствую, что это – как в могилу: никогда не поздно и всегда рано.

– Спасибо, – сказал я.

– Он еще благодарит! – Эль снова заржал. – Ты видал такое? Еще и благодарит.

– Три рубля мы удержали, – сказал круглоголовый. – А бланк порвите. Нет, дайте я сам порву. А то, не дай бог, случится с вами что–нибудь, а полиция к нам пожалует.

– Честно говоря, – сказал я, пряча бумажник, – мне все–таки непонятно, как вашу контору не прикроют.

– А у нас все честно–благородно, – сказал круглоголовый. – Не хочешь – никто тебя не заставит. А если что–нибудь случилось – сам виноват.

– Наркоманов тоже никто не заставляет, – возразил я.

– Э, сравнили! Наркотики – дело денежное, корыстное...

– Ну ладно, до свидания, – сказал я. – Спасибо вам, ребята. Где, вы сказали, бубу искать?

– "Оазис", – Пробасил эль. – Кафе. Проваливай.

– Какой ты вежливый, дружок, – сказал я, – даже сердце щемит.

– Проваливай, проваливай, – повторил эль. – Интель вонючий.

– Не волнуйся так, милый, – сказал я, – а то язву наживешь. Береги желудок, дороже желудка у тебя ничего нет. Верно я говорю?

Эль начал медленно выдвигаться из–за барьера, и я ушел. У меня снова разболелось плечо.

На улице падал крупный теплый дождь. Листья деревьев блестели мокро и весело, пахло свежестью, озоном, грозой.

Я остановил такси и назвал "оазис". Улица вся струилась свежими ручейками, и город был таким красивым и уютным, что неприятно было даже думать о заплесневелом, заброшенном метро.

Дождь хлестал вовсю, когда я выскочил из машины и, перемахнув через тротуар, ворвался в кафе "оазис". Народу было довольно много, почти все ели, даже бармен за стойкой хлебал суп, пристроив тарелку между стаканчиками для спиртного. Пообедавшие курили, рассеянно глядя на улицу сквозь залитую водой витрину. Я подошел к стойке и вполголоса осведомился, здесь ли буба. Бармен положил ложку и оглядел зал.

– Не–а, – сказал он. – Да вы обедайте пока, он скоро будет.

– А как скоро?

– Минут через двадцать, через полчаса.

– Ага, – сказал я. – Тогда я пообедаю, а потом подойду, и вы мне его покажите.

– Умгум, – сказал бармен, возвращаясь к своему супу.

Я взял поднос, набрал себе какой–то обед и сел к окну подальше от других посетителей. Мне хотелось подумать. Я чувствовал, что материала набралось достаточно для того, чтобы подумать о деле. Кажется, цепочка намечалась. Коробочки с "девоном" В ванной. Пористый нос говорил о бубе и о "девоне" (Шепотом говорил). Простой хороший парень эль говорил о бубе и о слеге. Отчетливая цепочка: ванна "девон" – Буба – слег. Более того. Загорелый парень с мы7ами предупреждал, что "девон" И все прочее – всем дряням дрянь, а круглоголовый адепт социального мазохизма не видел разницы между слегом и могилой. Как будто все сходится. Как будто это то, что мы ищем... И если это так, то римайер правильно посылал меня к рыбарям... Римайер, сказал я про себя. Зачем ты посылал меня к рыбарям, римайер? Да еще наказывал не капризничать и делать, что велят... И ведь ты не знал, что я межпланетник, римайер. А если даже и знал, то ведь там есть не только сумасшедший кибер, там есть и пулька и "один на двенадцать". Чем–то я тебе очень не понравился, римайер... Чем–то я тебе помешал. Да нет же, сказал я, этого же не может быть. Просто ты мне очень не доверял, римайер. Просто я чего–нибудь еще не знаю. Например, я не знаю, что такое оскар, который торгует в курортном городе "девоном" И который с тобой связан, римайер. И наверное, до нашего разговора в лифте ты встречался с оскаром... Я не хочу об этом думать. Он лежит, как покойник, а я думаю о нем такие вещи, и он даже не может оправдаться... Я вдруг почувствовал скверный холодок внутри. Ну хорошо, ну мы выловим эту шайку. И что изменится? Дрожка останется, лопоухий лэн будет по–прежнему не спать по ночам, вузи будет приходить домой пьяная до безобразия, а таможенник пети будет зачем–то падать мордой в битое стекло... И все будут заботиться о "благе народа". Одних будут поливать слезогонкой, других вколачивать по уши в землю, третьих превращать из обезьян в то, что вполне сойдет за людей... А потом дрожка выйдет из моды, и народу подарят супердрожку, а вместо из"ятого слега подсунут суперслег. Все будет для блага народа. Веселись, страна дураков, и не о чем не думай!..

За соседний столик уселись с подносами двое в накидках. Один из них показался мне чем–то знакомым. У него было породистое высокомерное лицо, и, если бы не толстый белый пластырь на левой скуле, я бы обязательно узнал его во всяком случае, у меня было такое ощущение. Второй был румяный человек с большой плешью и суетливыми движениями. Разговаривали они негромко, но не потому, что хотели скрыть что–нибудь, и их было отлично слышно с того места, где я сидел.

– Поймите меня правильно, – убедительно посоветовал румяный, торопливо поглощая шницель. – Я вовсе не против театров и музеев. Но ассигнования на городской театр в прошлом году недоиспользованы, а в музеи ходят одни туристы...

– Похитители картин, – вставил человек с пластырем.

– Оставьте, пожалуйста. У нас нет картин, которые стоило бы похищать. Слава богу, "Сикстинских мадонн" пока еще не научились синтезировать из опилок. Я хочу обратить ваше внимание на то, что распространение культуры должно в наше время идти совсем другим путем. Культура должна не входить в народ, а исходить из народа. Народные капеллы, кружки самодеятельности, массовые игры – вот что нужно нашей публике...

– Нашей публике нужна хорошая оккупационная армия, сказал человек с пластырем.

– Ах, оставьте, пожалуйста, вы ведь так не думаете... Охват кружками у нас на безобразном уровне. Боэла мне жаловалась вчера, что на ее чтения ходит только один человек, и тот, кажется, с матримониальными намерениями. А нам надо отвлекать народ от дрожки, от алкоголя, от сексуальных развлечений. Нам надо поднимать дух...

Человек с пластырем прервал его:

– что вам от меня нужно? Чтобы я сегодня поддерживал ваш проект против этого осла, нашего уважаемого мэра? Ради бога! Мне абсолютно все равно. Но если вы хотите знать мое мнение о духе, то духа нет, дорогой советник! Дух давно умер! Он захлебнулся в брюшном сале. И на вашем месте я бы считался с этим и только с этим!

Румяный человек, казалось, был убит. Некоторое время он молчал, потом вдруг застонал:

– боже мой, боже мой, чем вы вынуждены заниматься! Но я спрашиваю вас, кто–то все–таки летит ведь к звездам! Где–то строят мезонные реакторы! Где–то создают новую педагогику! Боже мой, совсем недавно я понял, что мы даже не захолустье, мы – заповедник! В глазах всего мира мы заповедник глупости, невежества и порнократии. Представьте себе, в нашем городе второй год сидит профессор рубинштейн. Социальный психолог, мировое имя. Он изучает нас, как животных... "Инстинктивная социология разлагающихся экономических формаций" – так называется его работа. Его интересует человек как носитель первобытных инстинктов, и он мне жаловался, как трудно ему было набирать материал в странах, где инстинктивная деятельность искажена и подавлена системой педагогики. А у нас он блаженствует! По его словам, у нас вообще нет никакой деятельности, кроме инстинктивной. Я был оскорблен, мне было стыдно, но боже мой, что же я мог ему возразить?.. Вы поймете меня. Вы же умный человек, мой друг, вы холодный человек, я знаю, но не могу же я поверить, чтобы вам до такой степени было все равно...

Человек с пластырем высокомерно глядел на него и вдруг дернул щекой. И я сразу же узнал его: это был тот самый тип с моноклем, который так ловко облил меня светящейся гадостью вчера у меценатов. Ах ты стервец! – Подумал я. Ах ты вор! Оккупационная армия ему понадобилась! Дух, видите ли, захлебнулся в сале...

– Простите, советник, – брезгливо произнес человек с пластырем. – Я все это понимаю, и именно поэтому мне совершенно ясно, что все вокруг нас – это маразм. Последние судороги. Эйфория.

Я встал и приблизился к их столику.

– Разрешите? – Спросил я.

Они удивленно воззрились на меня. Я сел.

– Простите меня, пожалуйста, – сказал я. – Я, собственно, турист и здесь у вас недавно, а вы, по–моему, местные и даже имеете какое–то отношение к городскому управлению... Вот я и решился побеспокоить вас. Я все слышу вокруг: меценаты, меценаты... А что это такое, никто толком не знает...

Человек с пластырем снова дернул щекой. Глаза его расширились – он тоже узнал меня.

– Меценаты? – Сказал румяный советник приветливо. Есть, есть такая варварская организация у нас. Очень печально, но есть. (Я кивал и рассматривал пластырь. Мой знакомый уже оправился и с прежним высокомерным видом кушал желе.) По сути дела, это современные вандалы. Мне простО трудно подобрать другое слово. Они скупают на паях ворованные картины, скульптуры, рукописи неопубликованных книг, патенты и уничтожают их. Вы представляете, как это отвратительно? Они находят некое патологическое наслаждение в уничтожении элементов мировой культуры. Собираются большой, хорошо одетой толпой и неторопливо, продуманно, со сладострастием уничтожают...

– Ай–яй–яй–яй! – Сказал я, не сводя глаз с пластыря. А ведь таких надо вешать за ноги.

– Мы их преследуем! – Воскликнул румяный советник. Мы их преследуем по закону. Мы, к сожалению, не можем преследовать артиков и першей, они, собственно, не нарушают никаких писанных законов, но коль скоро речь заходит о меценатах...

– Вы уже кончили, советник? – Осведомился человек с пластырем. Меня он игнорировал.

Румяный спохватился.

– Да–да, нам пора идти. Вы нас извините, – сказал он, обращаясь ко мне, – у нас заседание в муниципалитете...

– Бармен! – Металлическим голосом позвал человек с пластырем. – Вызовите такси, прошу вас.

– Вы давно в городе? – Спросил румяный.

– Второй день, – ответил я.

– И вам... Нравится?

– Красивый город.

– М–да, – промямлил румяный.

Мы помолчали. Человек с пластырем нахально вставил в глаз монокль и вытащил сигару.

– Болит? – Спросил я сочувственно.

– Что именно? – Надменно сказал он.

– Скула, – сказал я. – И еще должна болеть печень.

– У меня никогда ничего не болит, – ответил он, блеснув моноклем.

– Разве вы знакомы? – Удивился румяный.

– Немножко, – сказал я. – Мы поспорили об искусстве.

Бармен крикнул, что такси прибыло. Человек с пластырем сейчас же встал.

– Пойдемте, советник, – сказал он.

Румяный растерянно улыбнулся мне и тоже встал. Они пошли к выходу. Я проводил их глазами и направился к стойке.

– Бренди? – Спросил бармен.

– Именно, – сказал я. Меня трясло от злости. – Кто эти люди, с которыми я сейчас говорил?

– Плешивый – это советник муниципалитета, культурой занимается. А тот, что с моноклем, – это городской казначей.

– Казначей, – сказал я. – Сволочь он, а не казначей.

– Да ну? – Сказал бармен с интересом.

– Вот вам и ну. Буба пришел?

– Нет еще. А казначей, он что?

– Сволочь он, – сказал я. – Ворюга.

Бармен подумал.

– Очень даже может быть, – сказал он. – Вообще–то он барон. Бывший, конечно. Повадки у него и верно сволочные. Жалко, я голосовать не ходил, а то бы против него голосовал... А что он вам сделал?

– Он вам сделал, – сказал я. – А я ему сделал. И еще кое–что сделаю. Вот такое положение.

Бармен, ничего не поняв, кивнул и сказал:

– повторим?

– Давайте, – сказал я.

Он налил мне бренди и сообщил:

– а вот и буба пришел.

Я оглянулся и чуть не выронил стакан. Я узнал бубу.

Глава десятая.

Он стоял у дверей и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень не похож на себя, но я его все–таки узнал сразу, потому что мы четыре года просидели рядом в аудиториях школы, и потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно.

– Слушайте, – сказал я бармену. – Его зовут буба?

– Умгум, – сказал бармен.

– Что же это – кличка?

– Откуда мне знать? Буба и буба. Его все так зовут.

– Пек! – Крикнул я.

Все посмотрели на меня. И он тоже медленно повернул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания. Словно вспомнив что–то, он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом взобрался на табурет рядом со мной.

– Как обычно, – сказал он бармену. Голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло.

– Вас тут дожидаютя, – сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком.

Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил:

– ну? Чего надо?

Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами.

– Пек зенай, – тихо произнес я, – курсант пек зенай, вернитесь, пожалуйста, с земли на небо.

Он все так же слепо смотрел на меня. Потом облизнул губы и сказал:

– сокурсник, что ли?

Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан.

– Пек, – сказал я, – ты что же, дружище, не помнишь меня?

Он снова оглядел меня.

– Да нет... Наверное, видел где–то...

– Видел где–то! – Сказал я с отчаянием. – Я – иван жилин, неужели ты меня совсем забыл?

Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось.

– Нет, приятель, – сказал он. – Прошу извинить, конечно, но я вас не помню.

– И "Тахмасиб" не помнишь? И айову смита не помнишь?

– Изжога меня сегодня изводит, – сообщил он бармену. Дайте мне содовой, кон.

Бармен, с любопытством слушавший, налил содовой.

– Дрянной сегодня день, – сказал буба. – Два автомата отказали, представляете, кон?

Бармен покачал головой и вздохнул.

– Директор лается, – продолжал буба. – Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал я его к чертовой матери, он меня и уволил.

– А вы заявите в профсоюз, – посоветовал бармен.

– Да ну их, – сказал буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел.

Я сидел, как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был буба. Мне нужен был буба, а не пек... То есть пек мне тоже был нужен, но не этот... Этот не был пеком, он был каким–то незнакомым и неприятным мне бубой, и я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывает ему про футбол... Мне захотелось крикнуть: пек, что с тобой случилось, пек, ты же ненавидел все это!.. Я положил руку ему на плечо и сказал умоляюще:

– пек, милый, выслушай меня, пожалуйста... Он отстранился.

– В чем дело, приятель? – Глаза его уже совсем не смотрели. – Я не пек, меня зовут буба, понял? Вы меня с кем–то путаете... Никакого пека здесь нет... Так что тогда "Носороги", кон?..

И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что пека здесь действительно больше нет, а есть буба, агент преступной организации, и это единственная реальность, а пек зенай мираж, доброе воспоминание, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать... Ладно, подумал я, стискивая зубы, пусть будет по–вашему.

– Але, буба, – сказал я. – У меня к тебе дело.

Он уже был пьян.

– А я о делах возле стойки не разговариваю, – заявил он. – И вообще я работу кончил. Все. Больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет. Там тебе помогут.

– Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет, – сказал я. – Ты меня будешь слушать?

– А я тебя и так все время слушаю. Здоровье только порчу.

– Дело у меня небольшое, – сказал я. – Мне нужен слег.

Он сильно вздрогнул.

– Ты что, приятель, обалдел, что ли?

– Вы бы все–таки постыдились, – сказал бармен, – при людях–то... Совесть совсем потеряли.

– Заткнись, – сказал я ему.

– Ты потише, – грозно сказал бармен. – В полицию давно не таскали? А то смотри, раз, два – и высылка...

– Плевал я на высылку, – нагло сказал я. – Не суйся в чужие дела...

– Слегач вонючий, – сказал бармен. Он заметно озверел, но говорил негромко. – Слег ему захотелось. Сейчас позову сержанта, он тебе даст слег...

Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь и, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рукав.

– Ну, что тебе от меня надо? – С тоской сказал он. – Я полицию позову.

– Пек, – сказал я. – Опомнись, пек, я – иван жилин, ты же меня помнишь...

Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой пек, бесценный пек, незаменимый пек, добрый, умный, веселый пек, все пытался вспомнить, какой он был за пультом "Гладиатора", и не мог, потому что невозможно было представить его где–нибудь, кроме бара, над стаканом спирта.

– Такси! – Завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей.

– Пек, – сказал я, – поедем ко мне. Я тебе все расскажу.

– Отстаньте от меня, – сказал он, стуча зубами. – Я никуда с вами не поеду. Отстань! Я же тебя не трогал, я же тебе ничего не сделал, отстань, ради бога!

– Ну хорошо, – сказал я. – Я от тебя отстану. Но ты мне должен дать слег и дать свой адрес.

– Не знаю я никаких слегов, – застонал он. – Да что ж это за день такой сегодня, господи!..

Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик с красивой скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, и нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал, мокрое лицо его стало синим. Он с отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто, над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами: "У нас платят".

Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал:

– можно, я уйду, иван? Не могу... К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста...

Я взял его за руку.

– Пек, что с тобой творится? Ведь я тебя искал, адреса твоего нигде нет... Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю. Как ты попал в эту историю?.. Может, я могу помочь тебе чем–нибудь? Может быть, мы...

Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку.

– Вот палач, – прошипел он. – Гестаповец... Черт меня понес в этот "Оазис"... Дурацкая болтовня, сопли... Нет у меня слега, понял? Есть один, так я тебе его не отдам! Что я потом – как архимед?.. Есть у тебя совесть? Тогда отпусти меня, не мучай...

– Я не могу тебя отпустить, – сказал я, – пока не получу слег. И твой адрес. Должны же мы поговорить...

– Я не желаю с тобой говорить, неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем ни о чем не желаю говорить. Я хочу домой... И слег свой я тебе не отдам... Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать?

Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас. Что если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел. Но он знал, что это не в его силах.

– Сволочь, – сказал он с яростью. – Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет? На! На! – Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медяки и смятые бумажки. – Бери, здесь хватит!

– Что купить? У кого?

– Вот осел проклятый... Ну этот... Как его... М–м–м... Как его... А, дьявол!.. – Крикнул он. – Провались ты совсем! – Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант–гетеродин для карманных радиоприемников. – На! Жри! – Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в миллиметр.

– Спасибо, – сказал я. – И как ею пользоваться?

У пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся.

– Господи, – сказал он почти с нежностью, – неужели ты ничего не знаешь?

– Ничего не знаю, – сказал я.

– Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач? У тебя приемник есть? Вставь туда вместо гетеродина, повесь где–нибудь в ванной или поставь, все равно, и, валяй.

– В ванной?

– Да.

– Обязательно в ванной?

– Ну да! Обязательно нужно, чтобы тело было в воде. В горячей воде. Эх ты, теленок...

– А "Девон"?

– А "Девон" высыпь в воду. Таблеток пять в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь... И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. А перед самым началом выпей пару стаканчиков чего–нибудь покрепче. Это нужно, чтобы... Как это... Развязаться, что ли...

– Так, – сказал я. – Понятно. Теперь все понятно. – Я завернул слег в бумажную салфетку и положил в карман. Значит, волновая психотехника?

– Господи, да какое тебе до этого дело? – Он уже стоял, надвигая капюшон на голову.

– Никакого, – сказал я. – Сколько я тебе должен?

– Пустяки, вздор! Пошли скорее... Какого черта мы теряем время?

Мы поднялись на улицу.

– Ты правильно решил, – сказал пек. – Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир. Такси! Завопил он. – Эй, такси! – Его затрясло от возбуждения. – И чего меня понесло в "Оазис"?.. Не–ет, теперь я больше никуда, никуда...

– Дай мне твой адрес, – сказал я.

– Зачем тебе мой адрес?

Подкатило такси, буба рванул дверцу.

– Адрес! – Сказал я, хватая его за плечо.

– Вот дурак, – сказал буба. – Солнечная, одиннадцать... Вот дурак, – повторил он, усаживаясь.

– Завтра я к тебе заеду, – сказал я.

Он уже не обращал на меня внимания. "Солнечная! Крикнул он шоферу. – Через центр! И побыстрее ради бога!"

Как просто, подумал я, глядя вслед его машине. Как все оказалось просто! И все совпадает. И ванна и "Девон". И орущие приемники, которые так нас раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали... Я взял такси и отправился домой.

А вдруг он меня обманул, подумал я. Просто хотел от меня поскорее избавиться... Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента–распространителя. Он же пек... Впрочем, нет, он уже больше не пек. Бедный пек. Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать пека, я не желаю его трясти, как какую–нибудь шпану... Правда, он уже не пек. Чепуха, что значит не пек? Он – пек... И все–таки... Придется... Волновая психотехника... Но дрожка – это ведь тоже волновая психотехника. Что–то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл... А римайер живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение... И "Девон" на полу. И оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям...

Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил римайеру. Ответил тихий женский голос.

– Как больной? – Спросил я.

– Он спит. Не надо его беспокоить.

– Я не буду. Ему лучше?

– Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат.

– Вы будете у него все время?

– Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон.

– Благодарю вас, – сказал я. – Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить.

Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя, в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить копейки и очень удобны при транспортировке.

– Что это у вас? – Спросил лэн над самым моим ухом.

Он стоял рядом и смотрел на слег.

– Разве ты не знаешь? – Спросил я.

– Это из приемника, – сказал он. – У меня в приемнике есть такая. Все время портится.

Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, но это был не слег.

– Неодинаковые, – признал лэн. – Но такую штучку я тоже видел.

– Какую?

– Вот такую, как у вас.

Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым.

– Вспомнил? – Спросил я.

– Вовсе нет, – сказал он мрачно. – Ничего я не вспомнил.

– Ну и ладно, – сказал я. Я взял слег и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку.

– Не надо, – сказал он.

– Почему?

Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами.

– Ты чего боишься? – Спросил я.

– Ничего я не боюсь, откуда вы взяли...

– Посмотрись в зеркало, – сказал я и положил приемник в карман. – У тебя такой вид, будто ты за меня испугался.

– За вас? – Удивился он.

– Ну ясно, за меня. Не за себя же... Хотя да, ведь ты еще боишься этих... Некротических явлений.

Он стал смотреть в сторону.

– Откуда вы взяли? – Сказал он. – Просто мы так играем.

Я презрительно фыркнул.

– Знаю я эти игры! Одного вот только не знаю: откуда в наше время беруться некротические явления?

Он озирался по сторонам, потом стал пятиться.

– Я пойду, – сказал он.

– Нет уж, – сказал я решительно. – Давай договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое–что смыслю.

– Что вы смыслите? – Он был уже возле дверей и говорил очень тихо.

– Побольше тебя, – сказал я строго. – Но орать об этом на весь дом не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда... Я–то ведь не некротическое явление... Залезай сюда на стол и садись.

Целую минуту он колебался, исподлобья глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал:

– я только дверь закрою.

Он сбегал в гостинную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостинную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши красные и холодные.

– Во–первых, ты дурак, – об"Явил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. – Жил–был мальчик до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что, когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака.

Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил:

– а чего он боялся?

– У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И как это часто бывает, подвипивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид. А когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик...

На лице лэна появилась презрительная усмешка.

– Нашел чего бояться... Они, когда пьяные, наоборот, добрые.

– Кто – они? – Сейчас же спросил я. – Мать? Вузи?

– Ну да. Мама, наоборот, с утра, как встанет, всегда злится, а потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко...

– А ночью?

– Ночью этот хмырь приходит, – неохотно сказал лэн.

– До хмыря нам дела нет, – деловито сказал я. – Не от хмыря же ты в гараж убегаешь.

– Я не убегаю, – сказал он упрямо. – Это такая игра.

– Не знаю, не знаю, – сказал я. – Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу, у меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться, – вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости. Когда дураки, например, от безделья и от жира угощают мозгом живой обезьянки. Это уже не страшно, это просто противно. Тем более что это они не сами придумали. Это еще тысячу лет назад – и тоже с жиру – придумали толстые тираны на дальнем востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться...

– Жалеть, – сказал лэн. – Они–то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и делают. Им ведь все равно, как вы не понимаете... Им если скучно, то все равно, кому голову пилить... Дурачки... Это они днем, может быть, дурачки, вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки, они все проклятые...

– Как это так?

– Всем миром они проклятые. Покоя им нет и не будет. Вы–то ничего не знаете... Вам что, как приехали, так и уедете... А они – ночью живые, а днем мертвые... Трупные...

Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал:

– а вы скоро уедете?

– Да нет, что ты, – сказал я, похлопывая его по спине. – Я же только что приехал.

– Можно, я у вас ночевать буду?

– Конечно.

– Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем–то сняла. А зачем сняла – не говорит...

– Ладно, – сказал я. – Будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?

– Да.

– Вот, запирайся там и спи на здоровье. А я тогда в спальню через окно забираться буду.

Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.

– Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются.

– Это у вас они не запираются, – сказал я по возможности небрежно. – А у меня они запираться будут. На полчаса работы.

Он неприятно, как взрослый, засмеялся.

– Вы сами–то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь.

– Дурачина ты, – сказал я. – Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь. – Он испытующе смотрел на меня. – А замок я хотел сделать в гостиной для того, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном.

– Я же говорю, – сказал он, – я пошутил.

Мы помолчали.

– Лэн, – сказал я, – а кем ты будешь, когда вырастешь?

– А что? – Сказал он. Он очень удивился. – Какая мне разница?

– Как так – какая разница? Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом?

– Я же вам сказал: мы все проклятые. От проклятья–то не уйдешь, как вы понять не можете, это же всякий знает.

– Что ж, – сказал я, – бывали и раньше проклятые народы. А потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятье.

– А как?

– Это долго об"яснять, дружище. – Я встал. – Я тебе это еще обязательно расскажу. А сейчас беги играй. Днем–то ты хоть играешь? Ну, вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю.

Он сунул руки в карман и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:

– а эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?

– Гетеродин, – сказал я.

– Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет.

– Почему это мне плохо будет? – Сказал я.

– Выньте, – сказал он. – Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не "Проклятый", а станете "Проклятым". Кто вам его дал? Вузи?

– Нет.

Он умоляюще посмотрел на меня.

– Иван, выньте!

– Так и быть, – сказал я. – Выну. Беги играй. И никогда меня не бойся, слышишь?

Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что–то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой: "... Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, И здесь... Вот... Вот... Вот... И тогда я сел в самолет и улетел в горы..." Интересно, когда он ложится спать? Подумал я. Хорошо, если в восемь или хотя бы в девять, зря я, пожалуй, все это затеял, сейчас бы заперся в ванной и через два часа уже все знал бы, да нет, не мог же я отказать ему, представь–ка себя на его месте, но это не метод, я потакаю его страхам, надо было придумать что–нибудь поумнее, а попробуй придумай, это тебе не аньюдинский интернат, ох, какой же это не аньюдинский интернат, какое же это все не такое, и что же мне сейчас предстоит, какой, интересно, круг рая, только если будет щекотно, я не смогу, интересно, рыбари – это тоже круг рая, наверняка, меценатство для аристократов духа, а старое метро для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются как свиньи и ни на что больше не годны, даже они больше ни на что не годны, слишком много ненависти, слишком мало любви, ненависти легко научить, а вот любви – трудно, и потом любовь слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна, почему–то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна и потому очень привлекательна, и говорят еще, что ненависть от природы, а любовь – от ума, от большого ума, а с интелями все–таки хорошо бы поговорить, не все же они там дураки и истерики, а вдруг удастся найти человека, что, собственно, хорошо у человека от природы, фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте, а хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки; правда, тогда лэн был бы сейчас маленьким генерал–полковником; нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте, он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, не генерал–полковников...

Я вздрогнул, потому что увидел: на яблоне напротив окна сидит лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. Нипочем не верит, подумал я. Никому не верит. А я кому–нибудь верю в этом городе? Я перебрал всех, кого мог вспомнить. Нет, никому я не верю. Я снял трубку, позвонил в "Олимпик" и попросил соединить с номером восемьсот семнадцать.

– Слушаю вас, – сказал голос оскара.

Я молчал, прикрывая микрофон пальцами.

– Слушаю! – Раздраженно повторил оскар. – Второй раз уже, – сказал он кому–то в сторону. – Алло!.. Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?.. – Он повесил трубку.

Я взял томик минца, лег в гостинной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю минца, но совершенно не помню, о чем я читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя вайна кормила лэна ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лэн капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник пети внушал командирским голосом, но вполне добродушно: "Надо есть, надо есть, раз мать говорит – надо есть, выполняйте..." Заходили двое какихто, судя по голосам – разболтанных молодых людей, спрашивали вузи и заигрывали с тетей вайной. По–моему, они были пьяны. Темнело быстро. В восемь часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. В восемь десять в дверь постучали. Я обрадовался, что это лэн, но это оказалась вузи.

– Что же вы даже не заходите? – Возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка–безрукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф, она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко. До оскомины.

– Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что–нибудь?

Я поднялся и сунул ноги в туфли.

– Садитесь, вузи. – Я похлопал по тахте рядом с собой.

– Не сяду я с вами, – сказала она. – Он тут читает, оказывается... Хоть бы выпить предложил.

– В баре, – сказал я. – Как поживает слюнявая корова?

– Слава богу, сегодня ее не было, – сказала вузи, залезая в бар. – Сегодня мне досталась мэриха... Вот дурища! Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить?.. Вам с водой?.. Глаза белые, морда красная, задница диваном – ну как у лягушки, ей–богу... Слушайте, давайте сделаем "Хорек". Сейчас все делают "Хорек"...

– А я не люблю делать, как все.

– Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется. И читает вдобавок.

– Он устал, – сказал я.

– Ах, так? Тогда я могу уйти!

– А я вас не пущу, – сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. – Вузи, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?

– А за что вас любить? – Она оглядела меня. – Глаза рыжие, нос картошкой...

– Как у крокодила.

– Как у пса... Не обнимайтесь, я вам не позволю. Почему вы не зашли?

– А почему вы меня вчера бросили?

– Здравствуйте, я его бросила!..

– Одного, в чужом городе...

– Я его бросила! Да я вас потом везде искала! Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали, – очень нехорошо с вашей стороны... Нет, я не разрешаю! Где вы вчера были? Рыбарили, наверное? А сегодня опять ничего не расскажите...

– Почему это не расскажу? – Сказал я. И я рассказал ей про старое метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет – про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все очень понравилось.

– Пойдемте сейчас же, – сказала она.

– Ни за что, – сказал я и лег.

– Что за манеры? Сейчас же вставайте, и пойдем! Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке.

– А потом мы пойдем на дрожку? – Осведомился я.

– Ну да! Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья...

– И будем пить бренди?

– И бренди, и вермут, и "Хорек", и виски...

– Хватит, хватит... И будем тискаться в машинах на скорости в сто пятьдесят миль?.. Слушайте, вузи, зачем вам туда идти?

Она, наконец поняла и растерянно заулыбалась.

– А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят...

– Да нет, ничего плохого, – сказал я. – Но что тут хорошего?

– Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело... И дрожка. В дрожке все всегда исполняется...

– Что же это – все?

– Ну не все, конечно... Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется. Как во сне.

– Так, может, лучше лечь спать?

– Ну да! – Сердито сказала она. – В настоящем сне такое бывает... Будто вы не знаете! А в дрожке – только то, что хочется!..

– А что вам хочется?

– Н–ну... Много чего...

– А все–таки? Вот пусть я волшебник. И я вам говорю: загадайте три желания. Любые, какие хотите. Самые сказочные. И я вам их исполню. Ну–ка?

Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось.

– Чтобы я никогда не старилась! – Заявила она.

– Отлично, – сказал я. – Раз.

– Чтобы я... – Вдохновенно начала она и замолчала.

Я очень любил задавать этот вопрос своим и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинения на тему "Три желания". И мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего два–три десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма, желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывалось, совершенно искренне сердилось и упрекало меня, что я сразу не сказал. Но так или иначе все они начинали свой ответ чем–нибудь вроде: "Чтобы я..." Здесь проявлялась какая–то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире – есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично...

– Чтобы мне... – Снова начала вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала: – да ну вас, в самом деле... Ну и трепач вы!

– Нет–нет–нет, – сказал я. – К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался: "Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял". Так что это совершенно серьезно. Первое у вас – чтобы никогда не стариться. А дальше?

– Ну что дальше?.. Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда.

– Превосходно, – сказал я. – Это два. И наконец?

По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела и что сейчас она что–нибудь отмочит. И она отмочила. Я даже глазами захлопал.

– Да, – сказал я. – Это, конечно, да... Только это случается и без волшебства...

– Как сказать! – Возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой–неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести... Ох... Ну и ну... Да–а–а!.. Хорошенькими делами они там занимаются в салонах хорошего настроения... Ай да престарелые!..

– Ф–фу–у... – Сказал я наконец. – Вузи, вы меня смущаете... И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник!

– Здорово я вас уела! – Радостно сказала вузи. – А вы бы чего сейчас пожелали?

Тогда я тоже решил пошутить.

– Мне ничего такого не надо, – сказал я. – Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший добрый слег...

Она весело улыбалась.

– Мне трех желаний не требуется, – пояснил я. – Мне хватит одного.

Она еще улыбалась, но улыбка ее стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.

– Что? – Сказала она жалким голосом.

– Вузи!.. – Сказал я, поднимаясь. – Вузи!..

Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу – раз и еще раз. И пока я моргал, она, уже совсем плача, отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении.

Я ощупал физиономию. Ай да шутка! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый... Вот тебе и слег...

– Можно? – Спросил лэн. Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо конопатый мальчик. – Это рюг, – сказал лэн. – Можно, он тоже будет ночевать здесь?

– Рюг, – задумчиво сказал я, разглаживая щеки. – Рюг, значит... Ну да, конечно, хоть два рюга... Слушай, лэн, а почему ты не пришел на десять минут раньше?

– Так тут же она была, – сказал лэн. – Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет.

– Да? – Сказал я. – Очень интересно. Рюг, голубчик, а что скажут твои родители?

Рюг не ответил. Лэн сказал:

– у него не бывает родителей.

– Ну хорошо, – сказал я, чувствуя легкое утомление. А вы не будете драться подушками?

– Нет, – сказал лэн, не улыбаясь. – Мы будем спать.

– Ладно, – сказал я. – Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все...

Я постелил им на тахте и на креслах, они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел ко мне в спальню и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли. Около одиннадцати часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети вайны запел какую–то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По–видимому, неутомимый пети опять падал мордой. Из города доносилось: "Дрож–ка! Дрож–ка!" Кого–то громко тошнило на улице.

Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции: поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток "Девона" и кристаллики ароматической соли и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще "Развязаться". Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось: початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.

Глава одиннадцатая.

Я нарочно не включал терморегулятор, и, когда вода остыла, я очнулся. Вопил приемник, блеск яркого света на белых стенах резал глаза. Я основательно озяб и покрылся пупырышками. Выключив приемник, я пустил горячую воду и остался в ванне, наслаждаясь приливающим теплом и очень странным, очень новым ощущением полной, какой–то космически огромной пустоты. Я ожидал похмелья, но похмелья не было. Было просто хорошо. И было очень много воспоминаний. И очень хорошо думалось, словно после долгого отдыха в горах...

В середине прошлого века олдс и милнер занимались экспериментами по мозговой стимуляции. Они вживляли электроды в мозг белых крыс. У них была варварская техника и варварская методология, но, отыскав в мозгу у крыс центры наслаждения, они добились того, что животные часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до восьми тысяч самораздражений в час. Эти крысы не нуждались ни в чем реальном. Они знать ничего не хотели, кроме рычага. Они игнорировали пищу, воду, опасность, самку, их ничто в мире не интересовало, кроме рычага стимулятора. Позже опыты были поставлены на обезьянах и дали те же результаты. Ходили слухи, что кто–то ставил такие эксперименты на преступниках, приговоренных к смерти...

То было тяжелое для человечества время: время борьбы против атомного уничтожения, время непрерывных малых войн по всему лицу планеты, время, когда большинство людей голодало, но даже тогда английский писатель и критик кингсли эмис, узнав об опытах с крысами, написал: "Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели берлинский или тайваньский кризис, но должно, по–моему, пугать сильнее". Он многого опасался в будущем, этот умный и ядовитый автор "Новых карт ада", и, в частности, он предвидел возможности мозговой стимуляции для создания иллюзорного бытия, столь же или более яркого, нежели бытие реальное.

В конце века, когда наметились первые триумфы волновой психотехники и стали пустеть психиатрические
лечебницы, в хоре восторженных воплей научных комментаторов раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка криницкого и миловановича. В заключительной ее главе советские педагоги криницкий и милованович писали примерно следующее. В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне восемнадцатого–девятнадцатого столетия. Эта давняя система воспитания ставила и ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготовить для общества квалифицированного, но оболваненного участника производственного процесса. Эту систему не интересуют все остальные потенции человеческого мозга, и поэтому вне производственного процесса человек в массе остается психологически человеком пещерным, человеком невоспитанным. Неиспользование этих потенций имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию нашего сложного мира во всех его противоречиях, неспособность связывать психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных социальных инстинктов. Иначе говоря, эта система воспитания практически не развивает в человеке чистого воображения, фантазии и – как немедленное следствие – чувства юмора. Человек невоспитанный воспринимает мир как некий по сути своей тривиальный, рутинный, традиционно простой процесс, из которого лишь ценой больших усилий удается выколотить удовольствия, тоже в конце концов достаточно рутинные и традиционные. Но и неиспользованные потенции остаются, по–видимому, скрытой реальностью человеческого мозга. Задача научной педагогики как раз и состоит в том, чтобы привести в движение эти потенции, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей реального мира. Эта задача, как известно, и должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Но пока эта задача не решена, остаются основания предполагать и опасаться, что успехи психотехники приведут

к таким способам волновой стимуляции мозга, которые подарят человеку иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей значительно превышающие бытие реальное. И если вспомнить, что фантазия позволяет человеку быть и разумным существом и наслаждающимся животным, если добавить к этому, что психический материал для создания ослепительного иллюзорного бытия поставляется у человека невоспитанного самыми темными, самыми первобытными рефлексами, тогда нетрудно представить себе тот жуткий соблазн, который таится в подобных возможностях...

И вот – слег.

Понятно, почему слово "Слег" они пишут на заборах...

Теперь все понятно. Скверно, что это мне понятно... Лучше бы я ничего не понял, лучше бы я, очнувшись, пожал плечами и вылез из ванны. Неужели строгову это было бы понятно, и эйнштейну, и петрарке? Фантазия – ценная вещь, но нельзя ей давать дорогу внутрь. Только вовне, только вовне... До чего же вкусного червяка забросила какая–то сволочь на удочке в эту заводь! И как точно выбрано время... Да, если бы я командовал уэллсовскими марсианами, я не стал бы возиться с боевыми треножниками, тепловым лучом и прочей ерундой... Иллюзорное бытие... Нет, это не наркотик, куда там наркотикам... Это именно то, что должно было быть. Здесь. Сейчас. Каждому времени свое. Маковые зерна и конопля, царство сладостных смутных теней и покоя для нищих, для заморенных, для забитых... А здесь никому не нужен покой, здесь ведь никто не умирает от голода, здесь просто скучно. Сытно, тепло, пьяно и скучно. Мир не то чтобы плох, мир скучен. Мир без перспектив, мир без обещаний... А он же не карась, он же все–таки человек... Да, это не царство теней, это именно бытие, настоящее, без скидок, без грезовой путаницы... Слег надвигается на мир, и этот мир будет не прочь покориться слегу.

И вдруг на какую–то долю мгновения я почувствовал, что погиб. И погибать мне было уютно. К счастью, я разозлился. Расплескивая воду, я вылез из ванны, ругаясь, разжигая в себе злобу, натянул на мокрое тело трусы и рубашку и схватил часы. Было три часа, и это могло быть три часа дня, и три часа следующей ночи, и три часа через сто лет. Дурак, подумал я, натягивая брюки. Разжалобился, отпустил бубу, ведь он готов был дать мне адрес притона... Оперативники были бы уже здесь, и мы накрыли бы все это проклятое гнездо. Гнусное гнездо. Клопиное гнездо. Отвратительную клоаку... И в этот момент по самому дну сознания световым зайчиком прошла какая–то очень спокойная мысль. Но я не уловил ее.

В аптечке я нашел "Потомак" – самое сильное возбуждающее, какое там только было. Сунулся в гостинную, но там посапывали ребятишки, и я вылез в окно. Город, естественно, отдыхал. На пригородной торчали под фонарями ржущие подростки, по магистралям, залитым светом, бродили галдящие толпы. Где–то орали песни, где–то вопили: "Дрож–ка!", Где–то били стекла. Я выбрал такси без шофера, нашел индекс солнечной улицы и набрал его на пульте управления. Машина пошла кружить по городу. В кабине воняло кислятиной, под ногами катались бутылки. На одном перекрестке я чуть не врезался в хоровод завывающих людей, на другом ритмично вспыхивали и гасли цветные огни, видимо, дрожку можно было устраивать не только на площади. Они отдыхали, они отдыхали во все тяжкие, добрые духовники из салонов хорошего настроения, вежливые таможенники, искусные парикмахеры, нежные матери и мужественные отцы, невинные юноши и девушки, – все сменили дневной облик на ночной, все старались, чтобы было весело и ни о чем не надо было думать...

Я затормозил. На том самом месте. Мне даже почудилось, будто потянуло гарью.... Пек подбил бронетранспортер из "Гремучки". Бронетранспортер завертелся на одной гусенице, прыгая на кучах битого кирпича, и наружу сейчас же выскочили двое фашистов в распахнутых камуфляжных рубашках, швырнули в нас по гранате и помчались в тень. Они действовали умело и проворно, и было ясно, что это не сопляки из королевской гимназии и не уголовники из золотой бригады, а настоящие матерые офицеры–танкисты. Роберт в упор срезал их пулеметной очередью. Бронетранспортер был набит ящиками с консервированным пивом. Мы вдруг сразу вспомнили, что уже два дня непрерывно хотим пить. Айова смит забрался в кузов и стал передавать нам банки. Пек вскрыл банки ножом. Роберт, прислонив пулемет к борту, пробивал банки ударом об острый выступ на броне. А учитель, поправляя пенсне, путался в ремнях "Гремучки" и бормотал: "Погодите, смит, минуточку, вы же видите, у меня заняты руки..." В конце улицы ярко пылал пятиэтажный дом, густо пахло гарью и горячим металлом, мы жадно глотали теплое пиво, мы были мокрые, было очень жарко, а мертвые офицеры лежали на битом и перебитом кирпиче, одинаково раскинув ноги в коротких черных штанах, камуфляжные рубахи сбились к затылку, и кожа на их спинах все еще лоснилась от пота. "Это офицеры, – сказал учитель, – слава богу. Я больше не могу видеть мертвых мальчиков. Проклятая политика, люди забывают бога из–за нее". – "Какого такого бога? – Спросил айова смит из кузова. – В первый раз слышу". – "Не надо шутить с этим, смит, – сказал учитель. – Все это скоро кончится, и впредь никогда и никому не будет больше позволено отравлять души людей суетностью". – "А как они будут размножаться?" – Спросил айова смит. Он снова нагнулся за пивом, и мы увидели горелые дыры у него на штанах. "Я говорю о политике, – сказал учитель кротко. Фашисты должны быть уничтожены, это звери, но этого мало. Есть еще много политических партий, и всем им со всей их пропагандой не место в нашей стране. – Учитель был из этого города и жил в двух кварталах от нашего поста. Социал–анархисты, технократы, коммунисты, конечно..." – "Я коммунист, – об"явил айова смит. – Во всяком случае, по убеждениям. Я за коммуну". Учитель растерянно смотрел на него. "И я безбожник, – добавил айова смит. – Бога нет, учитель, и с этим ничего не поделаешь". И тут мы все стали говорить, что мы безбожники, а пек сказал, что он к тому же за технократию, а роберт об"явил, что отец его социал–анархист, и дед был социал–анархистом, и ему, роберту, тоже не миновать стать социал–анархистом, хотя он не знает, что это такое. "Вот если бы пиво сделалось ледяным, – задумчиво сказал пек, – я бы с удовольствием поверил в бога". Учитель сконфуженно улыбался и протирал пенсне. Он был хороший, мы всегда над ним подшучивали, и он никогда не обижался. Я с первой же ночи заметил, что храбрости он был невеликой, но и никогда не отступал без команды. Мы все еще шутили и болтали, когда раздался грохот и треск, стена горящего дома обрушилась, и прямо из крутящегося огня, из тучи искр и дыма на нашу улицу выплыл, держась в метре над мостовой, штурмовой танк "Мамонт". Такого ужаса мы еще не видели. Выплыв на середину улицы, он повел метателем, словно осматриваясь, затем убрал воздушную подушку и с громом и скрежетом двинулся в нашу сторону. Я опомнился только в подворотне. Танк был уже значительно ближе, и сначала я не увидел никого, но затем в кузове бронетранспортера поднялся во весь рост айова смит, выставив перед собой "Гремучку", уперев казенник в живот, и стал целиться. Я видел, как отдача согнула его пополам, я видел, как по черному лбу танка ширкнула огненная черта, а затем улица наполнилась ревом и пламенем, и когда я с трудом поднял опаленные веки, улица была пуста и дымилась, и на улице был только танк. Не было бронетранспортера, не было куч битого кирпича, не было покосившегося киоска возле соседнего дома – был только танк. Он словно проснулся теперь, он извегал водопады огня, и улица на глазах переставала быть улицей и превращалась в площадь. Пек сильно ударил меня по шее, и прямо перед лицом я увидел его стеклянные глаза, но не было уже времени бежать к траншее и разворачивать лоток. Мы вдвоем подхватили мину и побежали навстречу танку, и я помню только, что неотрывно смотрел пеку в затылок, задыхался и считал шаги, и вдруг каска слетела с головы пека, и пек упал, и я едва не выронил тяжеленную мину и упал на него. Танк взорвали роберт и учитель. Я не знаю как и когда они это сделали, – должно быть, они бежали вслед за нами с другой миной. Я просидел до утра на середине улицы, держа на коленях перебинтованную голову пека и глядя на чудовищные гусеницы танка, торчащие из асфальтового озера. В то же утро как–то сразу все кончилось. Зун падана сдался со всем своим штабом и уже пленный был застрелен на улице какой–то сумасшедшей женщиной...

Это было то самое место. Мне даже чудилось, будто пахнет гарью и раскаленным металлом. И даже киоск стоял на углу, и он даже был немного перекошенный – в стиле новой архитектуры. А часть улицы, которую танк превратил в площадь, так и осталась площадью, а на месте асфальтового озера был сквер, и в сквере кого–то били. Айова смит был инженером–мелиоратором из айовы, соединенные штаты. Роберт свентицкий был кинорежиссером из кракова, польша. Учитель был школьным учителем из этого города. Их никто никогда больше не видел, даже мертвыми. А пек был пеком, который стал теперь бубой. Я включил двигатель.

Буба жил в таком же коттедже, как и я, и входная дверь была раскрыта настежь. Я постучал, но никто не отозвался и никто не вышел мне навстречу. Я вошел в темный холл. Свет не загорелся. Дверь на правую половину оказалась запертой, и я заглянул на левую. В гостиной на растерзанной тахте спал бородатый мужчина в пиджаке и без брюк. Чьи–то ноги торчали из–под перевернутого стола. Пахло коньяком, табачным дымом и еще чем–то сладким, как давеча из гостиной тети вайны. У двери в кабинет я столкнулся с красивой пышной женщиной, которая нисколько не удивилась, увидев меня.

– Добрый вечер, – сказал я. – Простите, буба здесь живет?

– Здесь, – ответила она, разглядывая меня блестящими, словно масляными глазами.

– Можно его видеть?

– А почему бы нет? Сколько угодно.

– Где он?

– Вот чудак! – Она засмеялась. – Ну где может быть буба?

Я предполагал – где, но сказал:

– не знаю. Может быть, в спальне?

– Тепло, – сказала она.

– Что тепло?

– Вот дурак. И еще трезвый. Хочешь выпить?

– Нет, – сказал я сердито. – Где буба? Он мне срочно нужен.

– Плохо твое дело, – сказала она весело. – Ну пошли, поищи, а я пойду.

Она потрепала меня по щеке и вышла.

В кабинете было пусто. На столе возвышалась большая хрустальная ваза с какой–то красноватой дрянью. От нее пахло сладко и тошно. В спальне тоже никого не было, простыни и подушки были скомканы и валялись как попало. Я подошел к двери ванной. В дверь явно стреляли из пистолета, изнутри, судя по форме пробоин. Я помедлил, затем взялся за ручку. Дверь была заперта.

Я с трудом открыл ее. Буба лежал в ванне по шею в зеленоватой воде, от воды поднимался пар. На краю ванны хрипел и завывал приемник. Я стоял и глядел на бубу. На бывшего космонавта–испытателя пека зеная. На бывшего стройного мускулистого парня, который в восемнадцать лет покинул свой теплый город у теплого моря и ушел в космос во славу человечества, а в тридцать лет вернулся на родину, чтобы драться с последними фашистами, и остался здесь навсегда. Мне было противно думать, что какой–нибудь час назад я был похож на него. Я потрогал его лицо, подергал за редкие влажные волосы. Он не пошевелился. Тогда я нагнулся над ним, чтобы дать ему понюхать "Потомак", и вдруг понял, что он мертв.

Я сбросил на пол приемник и раздавил его каблуком. На полу валялся пистолет. Но пек не застрелился, просто ему, наверное, мешали, и он стрелял в дверь, чтобы его оставили в покое. Я сунул руки в горячую воду, поднял его и перенес в спальню на кровать. Он лежал весь обмякший, страшный, с глазами, утонувшими подо лбом. Если бы он не был моим другом... Если бы он не был таким замечательным парнем... Если бы он не был таким замечательным работником...

Я вызвал по телефону "Скорую помощь" и сел рядом с пеком. Я старался о нем не думать. Я старался думать о деле. И я старался быть жестким и холодным, потому что по дну моего сознания снова прошел теплый световой зайчик, и на этот раз я понял, что это за мысль. Когда приехал врач, я уже знал, что буду делать дальше. Я найду эля. Я заплачу ему любую сумму. Может быть, я буду его бить. Если понадобится, я буду его пытать. Он скажет мне, откуда ползет на мир эта зараза. Он назовет мне адреса и имена. Он скажет мне все. И мы найдем этих людей. Мы разгромим и сожжем их тайные мастерские, а их самих мы увезем так далеко, что они никогда не смогут вернуться. Кто бы они ни были. Мы выловим всех, мы выловим всех, кто когда–либо пробовал слег, и их мы тоже изолируем. Кто бы они ни были. Потом я потребую, чтобы изолировали меня, потому что я знаю, что такое слег. Потому что я понял, что это была за мысль, потому что я социально опасен, так же как и они все. И это будет только начало. Начало всех начал, и впереди останется самое важное: сделать так, чтобы люди никогда, никогда, никогда не захотели узнать, что такое слег. Наверное, это будет дико. Наверное, многие и многие скажут, что это слишком дико, слишком жестоко, слишком глупо, но нам же придется это сделать, если мы только хотим, чтобы человечество не остановилось...

Врач, старый седой человек, положил белый саквояж, нагнулся над бубой, осмотрел его и сказал равнодушно:

– безнадежен.

– Вызовите полицию, – сказал я.

Он медленно спрятал в саквояж инструменты.

– В этом нет никакой необходимости, – сказал он. Здесь нет состава преступления. Это нейростимулятор...

– Да, я знаю.

– Ну вот. Второй случай за ночь. Они совсем не знают меры.

– Давно это началось?

– Нет, не очень... Несколько месяцев.

– Так какого же черта вы молчите?

– Молчим? Не понимаю. Это у меня шестой вызов за ночь, молодой человек. Второй случай нервного истощения и четыре случая белой горячки. Вы его родственник?

– Нет.

– Ну ничего. Я пришлю людей. – Он постоял немного, глядя на пека. – Вступайте в хоровые кружки, – сказал он. Записывайтесь в лигу раскаявшихся шлюх...

Он бормотал еще что–то, уходя, – старый, равнодушный, сгорбленный человек. Я накрыл пека простыней, опустил штору и вышел в гостиную. Пьяные гнусно храпели, распространяя запах перегара, и я взял их обоих за ноги, выволок во двор и бросил в лужу возле фонтана. Снова наступал рассвет, звезды гасли на бледнеющем небе. Я сел в такси и набрал на пульте индекс старого метро.

Там было людно. В регистратуре к барьеру было не пробиться, хотя мне показалось, что бланки заполняли всего два или три человека, а остальные только смотрели, жадно вытягивая шеи. Ни круглоголового, ни эля за барьером не оказалось, и никто не знал, как их найти. Внизу, в переходах и тоннелях, толкались и кричали пьяные полусумасшедшие мужчины и истеричные женщины. То глухо, то резко и отчетливо гремели выстрелы, дрожал от взрывов бетон под ногами, воняло гарью, порохом, потом, бензином, духами и водкой. Рукоплещущие, визжащие девки теснились вокруг капающего кровью детины с бледным торжествующем лицом, где–то жутко рычали дикие звери. В залах публика бесновалась у огромных экранов, а на экранах кто–то с завязанными глазами веером палил из автомата, прижав приклад к животу, кто–то сидел по грудь в черной тяжелой жидкости, весь синий, и курил толстую трещащую сигару, кто–то с перекошенным от напряжения лицом висел, словно окаменев, в паутине туго натянутых нитей...

Потом я узнал, где эль. Возле грязного помещения, заваленного мешками с песком, я увидел круглоголового. Он неподвижно стоял в дверях, лицо его было закопчено, от него несло пороховой гарью, и зрачки были во весь глаз. Через каждые пять секунд он нагибался и чистил колени, и он не слушал меня, и пришлось сильно встряхнуть его, чтобы он меня заметил.

– Нету эля! – Гаркнул он. – Нету его, понимаешь? Один дым, понял? Двадцать киловольт, сто ампер, понимаешь? Не допрыгнул!

Он сильно оттолкнул меня, повернулся и устремился в грязное помещение, прыгая через мешки с песком. Расталкивая любопытных, он продрался к низенькой железной двери.

– А ну, пусти! – Визжал он. – А ну, я опять! Бог троицу любит...

Дверь гулко захлопнулась за ним, и люди шарахнулись прочь, спотыкаясь и падая. Я не стал ждать, пока он выйдет. Или не выйдет. Он мне больше не был нужен. Оставался только римайер. Оставалась еще и вузи, но на нее я не надеялся. Значит, только римайер. Я не буду его будить, я подожду под дверью.

Уже взошло солнце, и загаженные улицы были пусты. Из каких–то подземных стоянок выползали и принимались за работу дворники–автоматы. Они знали только работу, у них не было потенций, которые стоило развивать, но зато у них не было и первобытных рефлексов. Возле "Олимпика" мне пришлось остановиться и пропустить длинную колонну красных и зеленых людей, закованных в дымящуюся чешую, которые, трудно волоча ноги, проплелись из одной улицы в другую, оставив за собой запах пота и краски. Я стоял и ждал, пока они пройдут, а солнце уже озаряло громаду отеля и весело блестело на металлическом лице владимира сергеевича юрковского, смотревшего, как и при жизни, поверх всех голов. Потом они прошли, и я вошел в отель. Портье дремал за своим барьером. Проснувшись, он профессионально улыбнулся и спросил свежим голосом:

– прикажете номер?

– Нет, – сказал я. – Я иду к римайеру.

– К римайеру? Но простите... Девятьсот второй номер?

Я остановился.

– Да, кажется. В чем дело?

– Прошу прощения, но римайера нет дома.

– Как нет?

– Он уехал.

– Не может быть, он же болен... Вы не ошибаетесь? Девятьсот второй номер.

– Совершенно верно, девятьсот второй номер. Римайер. Наш постоянный клиент. Полтора часа назад он уехал. Точнее, улетел. Друзья помогли ему спуститься и сесть в вертолет.

– Какие друзья? – Спросил я безнадежно.

– Я сказал – друзья? Прошу прощения, возможно, это знакомые. Их было трое, и двоих я действительно не знаю. Просто молодые люди спортивного типа. Но мистера пеблбриджа я знаю, он наш постоялец, но он уже выписался.

– Пеблбридж?

– Совершенно верно. Последнее время он довольно часто встречался с римайером, из чего я и заключил, что они хорошо знакомы. Он снимал у нас восемьсот семнадцатый номер... Такой представительный мужчина, в годах, рыжеватый...

– Оскар...

– Совершенно верно, оскар пеблбридж.

– Понятно, – произнес я, стараясь держать себя в руках. – Так вы говорите, они помогли ему?

– Да. Ведь он сильно болел, к нему даже врача вызывали вчера. Он был еще очень слаб, и молодые люди поддерживали его под локти и почти несли.

– А сиделка? У него была сиделка.

– Была. Но она ушла сразу же после них. Они ее отпустили.

– Как вас зовут? – Спросил я.

– Вайл, к вашим услугам.

– Слушайте, вайл, – сказал я. – А вам не показалось, что римайера увезли насильно?

Я не спускал с него глаз. Он растерянно заморгал.

– Н–нет, – проговорил он. – Впрочем, сейчас, когда вы это сказали...

– Хорошо, – сказал я. – Дайте мне ключ от его номера, и пойдемте со мной.

Портье, как правило, весьма дошлый народ. Во всяком случае, на определенные вещи нюх у них просто замечательный. Было совершенно ясно, что он догадался, кто я. И может быть, даже – откуда я. Он подозвал швейцара, что–то шепнул ему, и мы поднялись в лифте на девятый этаж.

– Какой валютой он расплачивался? – Спросил я.

– Кто? Пеблбридж?

– Да.

– Кажется... Ах да, марками. Немецкими марками.

– А когда он к вам приехал?

– Минуточку... Сейчас я вспомню... Шестнадцать марок... Совершенно точно, четыре дня назад.

– Он знал, что римайер живет у вас?

– Простите, не могу сказать. Но позавчера они обедали вместе. А вчера долго беседовали в вестибюле. Рано утром, когда еще никто не спал.

В номере римайера было непривычно чисто и прибрано. Я походил, осматривая комнаты. В стенном шкафу стояли чемоданы. Постель была смята, но никаких следов борьбы я не нашел. В ванной тоже все было чисто и прибрано. На туалетной полочке лежали коробки "Девона".

– Как вы полагаете, я должен вызвать полицию? Спросил портье.

– Не знаю, – ответил я. – Посоветуйтесь с администрацией.

– Вы понимаете, я опять начал сомневаться... Правда, он не попрощался со мной... Но все это выглядело совершенно невинно. Ведь он же мог подать знак, я бы понял его, мы давно знаем друг друга... А он только просил мистера пеблбриджа: "Приемник, приемник не забудьте..."

Приемник лежал под зеркалом, скрытый небрежно брошенным полотенцем.

– Да? – Сказал я. – И что же отвечал мистер пеблбридж?

– Мистер пеблбридж успокаивал его, говорил: "Обязательно, обязательно, не беспокойтесь..."

Я взял приемник и, выйдя из ванной, уселся за письменный стол. Портье смотрел то на меня, то на приемник. Так, подумал я, теперь он знает, зачем я сюда пришел. Я включил приемник. В нем захрипело и завыло. Все они знают о слеге. Не нужно эля, не нужно римайера, можно брать любого, первого встречного. Вот этого портье, например. Хоть сейчас. Я выключил приемник и сказал:

– будьте добры, включите комбайн.

Портье мелкими шажками побежал к радиокомбайну, включил и вопросительно оглянулся на меня.

– Оставьте на этой станции, – сказал я. – Немножко потише, пожалуйста. Благодарю вас.

– Так вы мне не советуете вызывать полицию? – Спросил портье.

– Как вам угодно.

– Мне показалось, что вы имели в виду что–то вполне определенное, когда расспрашивали меня.

– Это вам только показалось, – холодно сказал я. Просто я недолюбливаю мистера пеблбриджа. Но это вас не касается.

Портье поклонился.

– Я пока останусь здесь, вайл, – сказал я. – У меня есть предположение, что мистер пеблбридж вернется и зайдет сюда. Не надо предупреждать его, что я здесь, а вы пока свободны.

– Слушаюсь, – сказал портье.

Когда он вышел, я позвонил в бюро обслуживания и продиктовал телеграмму марии: "Нашел смысл жизни но одинок брат неожиданно убыл приезжай немедленно иван". Потом я снова включил приемник, и он снова захрипел и завыл. Тогда я снял крышку и вытянул гетеродин. Это был не гетеродин. Это был слег. Красивая аккуратная деталька, явно заводского производства, и чем больше я смотрел на нее, тем больше мне казалось, что где–то когда–то – задолго до приезда сюда, и не один раз – я уже видел такие детали в каком–то очень знакомом приборе. Я попытался вспомнить, где же я их видел, но вместо этого вспомнил портье, его лицо, его ухмылку, понимающе–сочувственные глаза. Все они заражены. Нет, они не пробовали слега, упаси бог! Они даже никогда не видели его. Это же так неприлично! Это же всем дряням дрянь... Тише, дорогая, как можно при мальчике?.. Но мне рассказывали, это нечто необыкновенное... Я? Ну что ты, дружище! Ты, однако, обо мне невысокого мнения... Не знаю, говорят, что в "Оазисе", у бубы, а сам я не знаю... А почему бы и нет? Я человек умеренный, если почувствую неладное – остановлюсь... Дайте пять пачек "Девона", мы собрались (хи, хи!) На рыбную ловлю... Пятьдесят тысяЧ человек. И их знакомые в других городах. И сто тысяч туристов ежегодно. И дело ведь не в банде. Бог с ней, с бандой, что нам стоит ее разогнать! Дело в том, что все они готовы, все они жаждут, и нет ни малейшего намека на возможность доказать им, что это страшно, что это гибель, что это позор...

Я стиснул слег в кулаке, подпер кулаком голову и уставился на парадный, с колодкой орденских ленточек пиджак римайера, висящий на спинке стула. Вот так же, как я сейчас, он сидел, должно быть, в этом самом кресле несколько месяцев назад, и тоже второй раз держал в руках слег и приемник, и тот же теплый световой зайчик бродил по дну его сознания: ни о чем не надо беспокоиться, ведь теперь есть свет в любой тьме, сладость в любой горечи, радость в любой муке...

Вот–вот, сказал римайер. Теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря... ... Римайер, сказал я. Я тратил время не для себя. Этого нельзя делать, просто нельзя, это гибель для всех, нельзя заменять жизнь снами... ... Жилин, сказал римайер. Когда человек что–нибудь делает, он всегда делает это для себя. Может быть, и существуют на свете совершенные эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. Если ты имеешь в виду смерть в ванной, то, во–первых, в реальном мире мы все равно смертны, а вовторых, раз наука дала нам слег, она позаботилась и о том, чтобы слег был безвреден. А пока нужна просто умеренность. И не говори мне о замене яви сном. Ты же не новичок, ты прекрасно знаешь, что эти сны тоже явь. Это целый мир. Почему же обретение этого мира ты называешь гибелью?.. ... Римайер, сказал я. Потому что этот мир все–таки иллюзорен, он весь в тебе, а не вне тебя, и все, что ты в нем делаешь, остается в тебе. Он противоположен реальному миру, он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все – а ты знаешь, этим может кончиться, – история человечества прекратится... ... Жилин, сказал римайер. История – это история людей. Каждый человек хочет прожить жизнь недаром, и слег дает тебе такую жизнь... Да, знаю, ты считаешь, что и без слега живешь недаром, но сознайся, ты никогда так ярко и горячо не жил, как сегодня в ванне. Тебе немного стыдно вспоминать, ты не рискнул бы рассказать об этой жизни другим? И не надо. У них свои жизни, у тебя своя... ... Римайер, сказал я. Все это верно. Но прошлое! Космос, школы, борьба с фашистами, с гангстерами – что же, все это зря? Сорок лет я прожил зря? А другие? Тоже зря?.. ... Жилин, сказал римайер. В истории ничего не бывает зря. Одни боролись и не дожили до слега. А ты боролся и дожил... ... Римайер, сказал я. Я боюсь за человечество. Это же конец. Это конец взаимодействию человека с природой, это конец взаимодействию личности с обществом, это конец связям между личностями, это конец прогресса, римайер. Все миллиарды людей в ваннах, погруженыые в горячую воду и в себя. Только в себя... ... Жилин, сказал римайер. Это страшно, потому что непривычно. А что касается конца, то он настанет только для реального общества, только для реального прогресса. А каждый отдельный человек не потеряет ничего, он толька приобретет, ибо его мир станет несравненно ярче, его связи с природой – иллюзорной, конечно, – станут многообразнее, а связи с обществом – тоже иллюзорным, но ведь он об этом не будет знать, – станут и мощнее и плодотворнее. И не надо горевать о конце прогресса. Ты же знаешь, все имеет конец. Вот кончается и прогресс реального мира. Раньше мы не знали, как он кончится. Теперь знаем. Мы не успели познать всей потенциальной яркости реального бытия, может быть, мы и достигли бы этого познания через сотни лет, а теперь оно в наших руках. Слег дарит тебе восприятие отдаленнейших потомков и отдаленнейших предков, какого ты никогда не достигнешь в реальной жизни. Ты просто в плену одного старого идеала, но будь же логичен, идеал, который тебе предлагает слег, столь же прекрасен... Ведь ты же всегда мечтал о человеке с фантазией и гигантским воображением... ... Римайер, сказал я. Если бы ты знал, как я устал. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой и с другими людьми. Я всегда любил спорить, потому что иначе жизнь – это не жизнь. Но я устал именно сейчас, и именно о слеге я не хочу спорить... ... Тогда иди, иван, сказал римайер.

Я вставил слег в приемник. Как и он тогда. Я поднялся. Как и он тогда. Я уже ни о чем не думал, я уже не принадлежал этому миру, но я еще услышал, как он сказал: не забудь только плотно запереть дверь, чтобы тебе не мешали. И тогда я сел. ... Ах вот как, римайер! – Сказал я. Вот как это было! Ты сдался. Ты плотно запер дверь. А потом ты писал лживые отчеты своим друзьям, что никакого слега нет. А еще потом ты, поколебавшись всего минуту, послал меня на смерть, чтобы я тебе не мешал. Твой идеал – дерьмо, римайер. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу – дерьмо. Именно так, римайер. Так. Так... Я мог бы сказать тебе еще много, слегач. Я мог бы еще долго говорить о том, что не так просто вырвать из крови природное стремление каждого человека бороться с остановкой, с любой остановкой, со смертью, с покоем, с регрессом. Твой слег – та же ядерная бомба, только замедленного действия и для сытых. Но я не буду распространяться об этом. Я скажу тебе только одно: если во имя идеала человеку приходиться делать подлости, то цена этому идеалу дерьмо...

Я взглянул на часы и сунул приемник в карман. Мне надоело ждать оскара. Я хотел есть. И еще у меня было чувство, будто я сделал, наконец, в этом городе что–то полезное. Я оставил портье свой телефон – на случай, если вернется оскар или римайер, – и вышел на площадь. Я не верю, что римайер вернется и даже что я когда–нибудь, его увижу, но оскар еще мог сдержать свое обещание, хотя скорее всего его придется все–таки искать. И искать его буду уже не я. И, вероятно, не здесь.

Глава двенадцатая.

В кафе–автомате был только один посетитель: за столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке. Он отдувался, откидываясь на спинку стула, и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он окликнул меня.

– Алло! – Сказал он. – Вы местный?

– Нет, – сказал я. – Турист.

– А, значит, вы тоже ничего не понимаете...

Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему.

– Почему пусто? – Продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд. – Где жители? Почему все закрыто?.. Все спят, никого не добьешься...

– Вы только что приехали?

– Да.

Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива.

– Откуда вы? – Спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил: – если это не секрет, конечно...

– Нет, – сказал он, – не секрет... – И принялся есть.

Я допил сок и собрался было уходить, но он сказал:

– здорово живут, собаки. Такая еда, и сколько хочешь, и все бесплатно.

– Ну, все–таки не совсем бесплатно, – возразил я.

– Девяносто долларов! Гроши! Я за три дня с"Ем на девяносто долларов! – Глаза его вдруг остановились. С–собаки, – пробормотал он, снова принимаясь за еду.

Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и княжеств, они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужны были только две вещи: хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ – если понадобится, до последнего человека голодом и пулеметами. Микрогитлеры.

– Оружие? Хлеб? – Спросил я.

Он насторожился.

– Да, – сказал он. – Оружие и хлеб. Только без дурацких условий. И по возможности даром. Или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег. А правящая клика купается в роскоши...

– Голод? – Спросил я.

– Все что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши. – Он ненавидяще посмотрел на меня. – Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь. Революцию не остановить!

– Да, – сказал я. – А против кого революция?

– Мы боремся против кровопийц бадшаха! Против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию... Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете: хлеб дадим только после разоружения. Да еще грозите вмешательством... Какая гнусная лживая демагогия! Какой обман революционных масс! Разоружиться перед лицом кровопийц – это значит накинуть петлю на шею настоящих борцов! Мы отвечаем: нет! Вы не обманете народ! Пусть сложат оружие бадшах и его молодцы! Тогда посмотрим, что надо делать.

– Да, – сказал я. – Но бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею.

Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился.

– Я так и знал, что вы ни черта не понимаете, – сказал он. – Вы, сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной!

В джунглях я бы говорил с тобой по–другому, бандит, подумал я и сказал:

– я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили бадшаха, если он, в свою очередь, не удрал за хлебом и оружием...

– Он не удерет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья! И вот тогда мы начнем работать. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями, мы выполним всю программу, о которой вопит лживый бадшах, чтобы обмануть народ... Я им покажу забастовки! Они у меня побастуют... Никаких забастовок! Всех под ружье и вперед! И победим. И вот тогда...

Он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой.

– Тогда вы будете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня?

Он усмехнулся.

– Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем, мы будем жить в настоящих домах, мы скажем народу: теперь вы свободны, развлекайтесь!

– И ни о чем не думайте, – добавил я. – А вам не кажется, что это все может выйти вам боком?

– Бросьте! – Сказал он. – Это демагогия. Вы демагог. И догматик. У нас тоже есть всякие догматики, вроде вас. Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ, надо самому быть из народа, народ не любит умников! Ради чего же я, черт побери, даю себя жрать древесным пиявкам и сам жру червей? – Он вдруг довольно добродушно ухмыльнулся. – Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми и еще как–то... Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его нет у тебя и оно есть у соседа. А достигнутое изобилие – это отличная штука! За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию.

– Значит, все–таки ваша конечная цель – изобилие? Только изобилие?

– Ясно!.. Конечная цель всегда изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах...

– Это я уже учел... А человек?

– Что человек?

Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно.

– Вы никогда здесь не были раньше? – Спросил я.

– А что?

– Поинтересуйтесь, – сказал я. – Этот город дает отличные предметные уроки изобилия.

Он пожал плечами.

– Пока мне здесь нравится. – Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. –

Закуски какие–то незнакомые... Все вкусно и дешево... Этому можно позавидовать. Он проглотил несколько ложек салата и проворчал: – мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий достаточно и без нас. И потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные.

– Повесить бадшаха, – сказал я.

– Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний. Потом еще что–нибудь об"явится. А уж потом–потом–потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. И вы не беспокойтесь, справимся как–нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно... Догматики болтают: изобилие, мол, не цель, а средство. Мы отвечаем на это так: всякое средство было когда–то целью. Сегодня изобилие – цель. И только завтра оно, может быть, станет средством.

Я встал.

– Завтра может оказаться поздно, – сказал я. – И напрасно вы ссылаетесь на великих революционеров. Они бы не приняли ваш лозунг: теперь вы свободны, развлекайтесь. Они говорили иначе: теперь вы свободны, работайте. Они ведь никогда не дрались за изобилие для брюха, их интересовало изобилие для души и головы...

Рука его опять дернулась к кабуре, и опять он спохватился.

– Марксист! – Сказал он с удивлением. – Впрочем, вы же приезжий. У нас марксистов почти нет, мы их сажаем...

Я сдержался.

Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти.

Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: "Берегитесь. Она что–то задумала. Возилась в спальне". Я вздохнул и сел в кресло.

До встречи с оскаром (если она состоится) оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно – оскар мог пожаловать не один, и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет.

Я вынул слег из своего приемника и из приемника римайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие детали и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид фх–92–у, четырехразрядный, статичного поля, емкость два. Продается в магазинах бытовой электроники по пятьдесят центов за штуку. На местном жаргоне – слег.

Так и должно быть, подумал я. Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда мхагана и бурис обратились в оон с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия – замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей (шестнадцати и девяноста шести лет). А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы были преобретены сепаратистами в мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами (широко применяются подводными архерлогами на амазонке для отпугивания пирайн и кайманов) суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до ста пятидесяти градусов холода в радиусе двадцати метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами, и свойства эти часто бывают таковы, что нарушения закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становятся просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в уганде, и нашли остроумную самоделку из детской игрушки "Встань – сядь" и довольно распространенного медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой.

Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в стране дураков. Как трихины в свиной ляжке... Пять–шесть предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где–нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за пятьдесят центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать ("Только по знакомству и только вам!") За пятьдесят марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один. Наверняка не один... Но они вряд ли выжили: это вам не манок для птеродактилей... И вообще разве дело в спекулянтах?.. Ну продадут они еще сорок слегов, ну сто. Даже в городе дураков должны же сообразить, наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться, как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из "Радости жизни". А потом выступит доктор опир и заявит, что, по данным науки, слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего это огромное корыто с горячей водой... И слово "Слег" перестанут писать на заборах... Вот кого надо брать за глотку, если вообще кого–нибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. Беда, что существует эта страна дураков, этот поганый неострой. Он взял под свою опеку дрожку и ждет не дождется момента, когда можно будет узаконить слег...

В дверь постучали. В кабинет вошел оскар, и он был действительно не один. С ним был сам мария, плотный, седой, как всегда, в темных очках и с толстой тростью, смахивающий на ветерана, потерявшего зрение. Оскар самодовольно улыбался.

– Здравствуйте, иван, – сказал мария. – Познакомьтесь, это ваш дублер оскар пеблбридж. Из юго–западного отделения.

Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем совете безопасности, так это множество замшелых традиций, а из всех традиций больше всего меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из–за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга, и довольно метко. Не работа, а игра в сыщики–разбойники, ну их всех в болото...

– Я вас собирался сегодня брать, – сообщил оскар. – В жизни не видел более подозрительного суб"Екта.

Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к марии:

– я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил.

– Я вас так и понял, – сказал оскар самодовольно.

Мария кряхтя уселся в кресло.

– Никак не могу припомнить случая, – сказал он, чтобы иван был доволен всем. А между тем конспирация – это основа нашей работы... Возьмите стулья, оба, и садитесь... Вы, оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи... А это что тут у вас? – Сказал он, снимая темные очки над слегами. – Между делом занялись радиотехникой? Похвально, похвально...

Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по–видимому, готовился делать сообщение, а мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище было нечто символическое.

– Итак, агент жилин заполняет свой досуг радиотехникой, – проговорил мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле. – У него много досуга, он перешел на четырехчасовой рабочий день... А как обстоит дело со смыслом жизни, агент жилин? Вы, кажется, его нашли? Надеюсь, вас не придется увозить, как агента римайера?

– Не придется, – сказал я. – Я не успел втянуться. Римайер вам что–нибудь рассказывал?

– Нет, что вы! – Сказал мария с огромным сарказмом. Зачем? Ему приказали выследить наркотик, он его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг... Он сам стал наркоманом, понимаете? – Сказал мария. – Он молчит! Он накачался этим зельем до ушей и говорить с ним бесполезно! Он бредит, что убил вас, и все время просит радиоприемник... – Мария запнулся и посмотрел на радиоприемники. – Странно, – сказал он. Он посмотрел на меня. – Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым, у него есть кое–какие соображения – как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнем с него.

Я взглянул на оскара.

– По поводу какой операции?

– Черт знает что... – Сказал мария.

– Захват центра, – сказал оскар. – Вы еще не напали на центр?

Ловля начинается, подумал я и сказал:

– нет, не напал. На центр я не напал. Но...

– По порядку, по порядку, – строго сказал мария и похлопал ладонью по столу. – Начинайте, оскар, а вы, иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения. Если вы еще способны соображать.

Оскар начал. По–видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, римайер обвел его вокруг пальца также, как и меня. Но оскару тем не менее удалось многое. Он понял, что искомое "снадобье" Называют слегом. Он очень быстро понял связь слега с "девоном". Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустецы не имеют к нам никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну. Ему удалось даже втереться в доверие к интелям, и он твердо установил, что в городе существуют всего две действительно тайные организации: меценаты и интели. И поскольку меценаты исключались, оставались только интели...

– Это не противоречило создавшемуся у меня убеждению, – говорил оскар, – что единственные люди в городе, способные вести научные или квази–научные изыскания и имеющие доступ к лабораториям, это студенты и преподаватели университета. Правда, заводы города тоже имеют лаборатории. Таких лабораторий всего четыре, и я обследовал их все. Эти лаборатории сугубо специализированы и загружены текущей работой до предела. Поскольку заводы работают круглосуточно, не было никаких оснований предполагать, что заводские лаборатории могут стать центрами производства слега. А вот из семи лабораторий университета две явно окружены атмосферой тайны. Что там делается, выяснить мне не удалось, однако я взял на заметку трех студентов, которые, как мне кажется, должны знать это наверняка...

Я слушал его очень внимательно, поражаясь, как много он успел здесь, но мне было уже ясно, в чем его главная ошибка. Я понимал, что он шел по ложному следу, и вместе с тем во мне зрело смутное ощущение еще более значительной ошибки, главной ошибки, ошибки в изначальной схеме совета.

–... И я пришел к представлению, – говорил оскар, – о существовании полугангстерской организации вертикального типа с четкими разделениями функций отдельных групп. Производственная группа занимается изготовлением и совершенствованием слега... Должен вам сказать, что слег, чем бы он ни был, совершенствуется: мне удалось установить, что в самом начале "девон" Не применялся... Далее, коммерческая группа занимается распространением слега, а боевая группа терроризирует население и пресекает возникающие разговоры о слеге. Запуганность обывателей...

И тут я все понял.

– Одну минуту, – сказал я. – Оскар, вы гарантируете, что в городе всего две тайные организации?

– Да, – сказал оскар. – Только меценаты и интели.

– Продолжайте, оскар, – сказал мария недовольно. Иван, я попросил бы не перебивать.

– Виноват, – сказал я.

Оскар продолжал говорить, но я его больше не слушал. В мозгу у меня словно вспыхнуло что–то. Традиционная изначальная схема всех наших мероприятий с ее непременной аксиомой о существовании разветвленной организации злоумышленников разлетелась в пыль, и я только удивлялся, как я раньше не усмотрел всей ее глупой сложности для этой простой страны. Не было тайных мастерских, охраняемых угрюмыми личностями с кастетами, не было осторожных, лишенных принципов деловых людей, не было коммивояжеров с двойными воротничками, набитыми контробандой, и зря оскар вычерчивал эту красивую схему из кружков и квадратиков, соединенных путаницей линий, с надписями "центр", "Штаб" И многочисленными вопросительными знаками. Нечего было разрушать и сжигать, некого было брать и высылать на баффинову землю. Были современная промышленность бытовых приборов, государственные магазины, где слеги продавались по пятьдесят центов, и были – вначале – один–два не лишенных изобретательности человека, изнывающих от безделья и жаждущих новых впечатлений, и была средних размеров страна, где изобилие было когда–то целью, да так и не стало средством. И этого было вполне достаточно.

Кто–то по ошибке вставил в приемник слег вместо гетеродина и залег в ванну понежиться, послушать хорошую музыку или узнать последние новости, – и началось. Поползли слухи, в мусоропроводы сыпались останки фоноров, потом до кого–то дошло, что слеги можно добывать не из фоноров, а просто покупать в магазинах, и кто–то догадался применить ароматические соли, и кто–то пустил в ход "девон", И люди начали умирать в ваннах от нервного истощения, и статистический отдел совета безопасности подал в президиум совершенно секретный доклад, и сразу обнаружилось, что все умертвия произошли с туристами, побывавшими в этой стране, и что в этой стране таких умертвий больше, чем в любом другом месте планеты. И как это часто бывает, на хорошо проверенных фактах построили неверную теорию, и нас, строго законспирированных, одного за другим послали сюда раскрывать тайную шайку торговцев новым, неизвестным наркотиком, и мы прибыли сюда, и делали тут глупости, и как это всегда бывает, никакой труд не пропал даром, и если искать виноватого, то виноваты все, от мэра до римайера, а раз все, то значит – никто, и теперь надо...

– Иван, – раздраженно сказал мария. – Вы заснули?

Они оба смотрели на меня. Оскар протягивал мне блокнот со схемой. Я взял блокнот и бросил его на стол.

– Послушайте, – сказал я. – Оскар, конечно, молодчина, но мы опять сели в лужу... Оскар, вы так много увидели, и вы ничего не поняли. Если в этой стране и есть люди, ненавидящие слег, то это интели. Интели не гангстеры, это отчаявшиеся люди, патриоты... У них одна задача расшевелить это болото. Любыми средствами. Дать этому городу хоть какую–нибудь цель, заставить его оторваться от корыта... Они жертвуют собой, понимаете? Они вызывают огонь на себя, пытаются возбудить в городе хоть одну общую для всех эмоцию, пусть хотя бы ненависть... Неужели вы не слыхали о слезогонке, о расстрелах дрожек?.. И в лабораториях они изготовляют не слег, они там делают бомбы, варят слезогонку... И вообще нарушают закон о военной технике. Они путч готовят на двадцать восьмое, а слег вот!

Я сунул им по слегу и тут же выложил все, что я по этому поводу думаю.

Сначала они слушали меня с недоверием. Потом они уставились на слеги и не сводили с них глаз, пока я не закончил, а когда я закончил, они довольно долго молчали. Мария держал свой слег, как жужелицу. На лице его было неудовольствие. Оскар сказал:

– вакуумный тубусоид... Гм... Действительно... И приемники... В этом что–то есть...

Мария сунул слег в нагрудный карман и решительно об"явил:

– ничего в этом нет. То есть я вами, конечно, доволен, иван, вы, видимо, нашли то, что нужно, но работать вам не в совете, а в комиссии мировых проблем. Они там обожают философствовать, и по сей день ничего полезного не сделали. А вы работаете у нас уже десять лет, но так и не осознали простой истины: если есть преступление, значит, есть и преступник...

– Это неверно, – сказал я.

– Это верно! – Сказал мария. – Не затевайте со мной спора, вечно вы спорите!.. Молчите, оскар, сейчас говорю я. И я спрашиваю вас, иван: какой толк в вашей версии? Что вы предлагаете делать? Только конкретно, пожалуйста. Конкретно!

– Конкретно... – Проговорил я.

Да, моя версия им не подходила. Они, наверное, даже не считали ее версией. Для них это была философия. Они были люди, так сказать, решительного действия, гиганты немедленных решительных мер. Они не давали спуску. Они рубили узлы и срывали дамокловы мечи. Они принимали решение быстро, а приняв, больше уже не сомневались. Они не умели иначе. Это было их мировоззрение... И это только я так считал, что их время прошло... Терпение, подумал я. Мне понадобится очень много терпения... Я понял вдруг, что логика жизни снова отрывает от меня моих лучших товарищей и что теперь мне будет особенно плохо, потому что решения этого спора придется ждать долго, очень долго... Они смотрели на меня.

– Конкретно... – Повторил я. – Конкретно я предлагаю план распространения и развития человеческого мировоззрения в этой стране.

Оскар неприязненно сморщился, а мария сказал желчно:

– ха–ха! Я говорю с вами серьезно.

– Я тоже. Нужны не сыщики и не опергруппы с автоматами.

– Нужно решение! – Сказал мария. – Не разговоры, а решение!

– Я предлагаю именно решение, – сказал я.

Мария побагровел.

– Нужно спасать людей, – сказал он. – Души мы будем спасать потом, когда спасем людей... Не раздражайте меня, иван!

– Пока вы будете восстанавливать мировоззрение, сказал оскар, – люди будут умирать или становиться идиотами.

Я не хотел спорить, но все–таки сказал:

– до тех пор, пока человеческое мировоззрение не будет восстановлено, люди будут умирать и становиться идиотами, и никакие опергупны здесь не помогут... Вспомните римайера, сказал я.

– Римайер забыл свой долг! – Яростно сказал мария.

– Вот именно, – сказал я.

Мария захлопнул рот и, сорвав очки, некоторое время молча вращал глазами. Он был, несомненно, железный человек: просто–таки видно было, как он загоняет свое бешенство в желчный пузырь. Через минуту он был уже совершенно спокоен и мирно улыбался.

– Да, – сказал он. – Я, кажется, вынужден признать, что разведка как общественный институт окончательно деградировала. Видимо, последних настоящих разведчиков мы перебили во время путчей. "Нож" данцигер, "Бамбук" савада, "Кукла" гровер, "Козлик" боас... Да, они продавались и покупались, у них не было родины, они были подонками, люмпенами, но они работали! "Сириус" харам... Он работал на четыре разведки, он был мерзавец. Он был грязная скотина. Но если он давал информацию, то это была настоящая информация, четкая, точная и своевременная. Помню, я приказал повесить его, не испытывая никакой жалости, но, когда я смотрю на сегодняшних моих сотрудников, я понимаю, какая это была потеря... Ну хорошо, ну не удержался человек, стал наркоманом, в конце концов "Бамбук" – савада тоже был наркоманом. Но зачем писать лживые донесения? Ну не пиши их вообще, уволься, извинись... Я приезжаю в этот город в глубокой уверенности, что знаю его досконально, потому что у меня здесь уже десять лет сидит опытный, проверенный резидент. И вдруг выясняю, что ровно ничего не знаю. Каждый местный мальчишка знает, кто такие рыбари. А я не знаю! Я знаю только, что организация "Квс", занимавшаяся примерно тем же, чем занимаются нынешние рыбари, была расформирована и запрещена три года назад. Я знаю это из донесений моего резидента. А в местной полиции мне сообщают, что общество "Доц" возникло два года назад, и этого из донесений моего резидента я уже не узнал... Я беру элементарный пример, мне в конце концов нет никакого дела до рыбарей, но это же превращается в стиль работы! Донесения задерживаются, донесения лгут, донесения дезинформируют... Донесения, наконец, просто выдумываются! Один явочным порядком увольняется из совета и не считает нужным сообщить об этом своему начальнику, ему, видите ли, надоело, он все собирался сообщить, да как–то не нашел времени... Другой, вместо того чтобы бороться с наркотиками, сам становится наркоманом... А третий философствует!

Он горестно мне покивал.

– Поймите меня правильно, иван, – продолжал он. – Я не против философствований. Но философия – это одно, а наша работа – это совсем другое. Ну посудите сами, иван, если нет тайного центра, если имеет место стихийная самодеятельность, то откуда эта скрытность? Эта конспирация? Почему слег окружен такой таинственностью? Я допускаю, что римайер, молчит потому, что его мучают угрызения совести вообще и в частности за вас, иван. Но остальные? Ведь слег не запрещен законом, о слеге знают все, и все таятся. Вот оскар не философствует, он полагает, что обывателя просто запугивают. Это я понимаю. А что полагаете вы, иван?

– У вас в кармане, – сказал я, – лежит слег. Идите в ванную. "Девон" на туалетной полочке – таблетку в рот, четыре в воду. Водка в шкафчике. Мы вас подождем с оскаром. А потом вы нам расскажите – громко, вслух, своим товарищам по работе и подчиненным – о своих ощущениях и переживаниях. А мы... Вернее, оскар пусть послушает, а я, так и быть, выйду.

Мария надел очки и воззрился на меня.

– Вы полагаете, что я не расскажу? Вы полагаете, что я тоже пренебрегу служебным долгом?

– То, что вы узнаете, не будет иметь никакого отношения к служебному долгу. Служебный долг вы, может быть, нарушите потом. Как римайер. Это слег, товарищи. Это машинка, которая будит фантазию и направляет ее куда придется, а в особенности туда, куда вы сами бессознательно – я подчеркиваю: бессознательно – не прочь ее направить. Чем дальше вы от животного, тем слег безобиднее, но чем ближе вы к животному, тем больше вам захочется соблюсти конспирацию. Сами животные вообще предпочитают помалкивать. Они знай себе давят на рычаг.

– Какой рачаг?

Я об"Яснил им про крыс.

– А вы сами–то пробовали? – Спросил мария.

– Да.

– И что?

– Как видите, помалкиваю, – сказал я.

Некоторое время мария сопел. Потом он сказал:

– ну, я не ближе к животному, чем вы... Как это вставить?

Я зарядил приемник и подал ему. Оскар следил за нами с интересом.

– С богом, – сказал мария. – Где тут ванная? Заодно помоюсь с дороги.

Он заперся в ванной, и было слышно, как он там все роняет.

– Странное дело, – сказал оскар.

– Это вообще не дело, – возразил я. – Это кусок истории, оскар, а вы хотите засунуть его в папку с тесемками. А это вам не гангстеры. Ясно даже и ежу, как говаривал юрковский.

– Кто?

– Юрковский владимир сергеевич. Был такой известный планетолог, я с ним работал.

– А–а, сказал оскар. – Между прочим, на площади напротив "олимпика" Стоит памятник какому–то юрковскому.

– Это тот самый и есть.

– Правда? – Сказал оскар. – А впрочем, вполне возможно. Только памятник ему воздвигли не за то, что он был известным планетологом. Он просто впервые в истории города сорвал банк в электронную рулетку. Такой подвиг было решено увековечить.

– Я ожидал чего–нибудь в этом роде, – пробормотал я. Мне было тоскливо.

В ванной зашумел душ, и вдруг мария заорал ужасным голосом. Сначала я решил, что он пустил ледяную воду вместо теплой, но он орал не переставая, а потом принялся ругаться страшными словами. Мы с оскаром переглянулись. Оскар был в общем спокоен, он решил, что так проявляется действие слега, и на лице его возникло сочувственное выражение. Бешено лязгнула задвижка, дверь ванной с треском откатилась, в спальне зашлепали мокрые пятки, и голый мария ввалился в кабинет.

– Вы что, идиот? – Заорал он на меня. – Что за грязные шутки?

Я обмер. Мария был похож на чудовищную зебру. Его упитанное тело покрывали вертикальные ядовито–зеленые потеки. Он орал и топал ногами, от него летели изумрудные брызги. Когда мы пришли в себя и осмотрели место происшествия, выяснилось, что душевой конус забит губкой, попитанной зеленым лаком, и я вспомнил записку лэна, и понял, что это вузи. Инцидент исчерпывался долго. Мария считал, что это издевательство и хамское нарушение субординации. Оскар ржал. Я тер марию щеткой и об"яснялся. Потом мария заявил, что теперь уж он никому не верит и испытает слег дома. Он оделся и принялся обсуждать с оскаром план блокады города.

А я мыл ванну и думал, что моя работа в совете безопасности на этом заканчивается, что начинается совсем другая работа, что я не знаю, с чего нужно начинать, что мне хочется включиться в обсуждение плана блокады, но хочется не потому, что я считаю блокаду необходимой, а потому, что это так просто, гораздо проще, чем вернуть людям души, сожранные вещами, и научить каждого думать о мировух проблемах, как о своих личных.

"... Изолировать этот гнойник от мира, изолироватЬ жестко – вот и вся наша философия", – вещал мария. Это предназначалось мне. А может быть, и не только мне. Ведь мария умница. Он наверняка понимает, что изоляция – это всегда оборона, а здесь надо наступать. Но он умел наступать только опергруппами, и ему, наверное, было неловко в этом признаться.

Спасать. До каких же пор вас нужно будет спасать? Вы когда–нибудь научитесь спасать себя сами? Почему вы вечно слушаете попов, фашиствующих демагогов, дураков опиров? Почему вы не желаете утруждать мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам все просто и скучно? Чем же таким ваш мозг отличается от мозга рабле, свифта, ленина, эйнштейна, макаренко, хемингуэя, строгова? Когда–нибудь я устану от этого, подумал я. Когда–нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне...

Рюг и лэн пришли ко мне после уроков, и лэн сказал: "Мы уже решили, иван. Мы поедем в гоби, на магистраль". У лэна был рыжий пух на губе и болшие красные руки, и было видно, что про магистраль придумал именно он, и совсем недавно, минут десять назад. Рюг, как обычно, молчал, и жевал травинку, и внимательно рассматривал меня спокойными серыми глазами. Совсем стал квадратный, подумал я про него и сказал: "Превосходная книга, правда?" – "Ну да, – сказал лэн. – Мы сразу поняли, куда надо ехать". Рюг молчал. "Зной и смрад стоят в тени этих чернорабочих драконов, – сказал я на память. – Они жуют все под собою – старую монгольскую кумирню и кости двугорбого животного, павшего когда–то в песчаной буре..." – "Да", – сказал лэн, а рюг все жевал травинку. "Каждый раз, – продолжал я (уже из ичиндаглы), когда солнце занимает на небе математически точно определенное положение, на востоке расцветает мираж странного города с белыми башнями, которого никто еще не видел наяву..." – "Надлежит увидеть это своими глазами", сказал лэн и засмеялся. "Друг мой лэн, – сказал я, – это слишком увлекательно и, следовательно, слишком просто. Вы сами увидите, что это слишком просто, и это будет неприятное разочарование..." Нет, я не так сказал. "Друг мой лэн, – сказал я, – ну что это за мираж! Вот я семь лет назад в доме твоей матери увидел действительно прекрасный мираж: вы оба стояли передо мной уже почти взрослые..." Нет, это я говорю для себя, а не для них. Надо сказать не так. "Друг мой лэн, – сказал я. – Семь лет назад ты об"яснил мне, что твой народ проклят. Мы пришли сюда и сняли проклятье с тебя, рюга и со многих других детей, у которых не бывает родителей. А теперь ваша очередь снимать проклятье, которое...". Будет очень трудно об"яснить. Но я об"Ясню. Так или иначе я им об"ясню. Мы с детства знаем о том, как снимали проклятье на баррикадах, и о том, как снимали проклятье на стройках и лабораториях, а вы снимите последнее проклятье, вы, будущие педагоги и воспитатели. В последней войне, самой бескровной и самой тяжелой для ее солдат.

Наверху визгливо закричала вузи и жалобно заплакал лэн. В кабинете что–то бубнил оскар. Хорошо ему, подумал я, просто: слег – это плохо, вредно, противоестественно. Значит, надо уничтожить слег, запретить его законом и следить потом, чтобы закон выполнялся строго. И только мария умнее, потому что старше и опытнее. Марию еще можно будет перетянуть на нашу сторону. Я для него не авторитет, но найдуться люди, которых он выслушает внимательно... До чего же хорошо, что я могу сейчас крикнуть на весь мир и меня услышат миллионы единомышленников! И я подумал, что теперь не уеду отсюда. Я здесь всего три дня. Не может быть, чтобы здесь не оказалось никого, кто с нами. Кто ненавидит все это смертной ненависью, кто хочет взорвать этот тупой сытый мир. Такие люди всегда были и всегда будут. Ну, хотя бы тот шофер–книголюб... Или этот длинный жесткий из интелей... Да мало ли кто еще! Они тычутся, как слепые. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им, чтобы они не растрачивали ненависть по мелочам. Теперь наше место здесь. И мое место здесь.

Какая предстоит работа, подумал я. Какая работа!.. Я не знал пока, с чего нужно начинать в этой стране дураков, захваченной врасплох изобилием, но я знал, что не уеду отсюда, пока мне позволяет закон об иммиграции. А когда он перестанет позволять, я его нарушу.

С о д е р ж а н и е